# Дни в Бирме

**Автор:**
Джордж Оруэлл

Дни в Бирме

Джордж Оруэлл

Британский холостяк Джон Флори ведет беззаботную праздную жизнь в колониальной Индии. Как и остальные представители «высшего класса» он проводит время за игрой в теннис, беспробудным пьянством и развлечениями с бесчисленными женщинами. Знакомство с молодой англичанкой и дружба с индийским врачом Верасвами заставляет его взглянуть на происходящее вокруг совсем другими глазами.

Хронологически, «Дни в Бирме» – это первый роман Оруэлла. После четырех лет службы в колониальной Бирме офицером Имперской военной полиции он написал эту автобиографичную книгу, отразившую весь опыт тех непростых лет и послужившим в дальнейшем основанием для всей его оригинальной и чрезвычайно независимой жизненной позиции.

Джордж Оруэлл

Дни в Бирме

В пустынных сумрачных лесах

Под сенью ветвей задумчивых.

Шекспир. Как вам это понравится

Burmese Days

© перевод Вера Домитеева

© ИП Воробьев В.А.

© ИД СОЮЗ

1

У По Кин, старший судья Кьяктады, Верхняя Бирма[1 - Территория в бассейне верхнего течения главной бирманской реки Иравади; наименее заселенный район лесных джунглей. Действие романа происходит в 1920-е годы, когда Бирма была окраинной провинцией Британской Индии. Таким образом, «Верхняя Бирма» означает «самая глушь индийской колониальной глухомани». – Здесь и далее примеч. пер.], сидел на веранде. Было лишь полдевятого утра, но утро было апрельским, и наплывавшая жара уже грозила зноем томительных дневных часов. Редкие вздохи ветерка, казавшегося в духоте даже прохладным, покачивали гроздья свисающих с карниза еще росистых орхидей. За орхидеями виднелся пыльный кривой ствол пальмы, а далее – синее ослепительное небо. В нестерпимо режущей глаз солнечной вышине кружила стая едва различимых парящих грифов.

Застыв громадным фарфоровым божком, У По Кин пристально, не мигая, глядел на солнце. Немолодой и такой грузный, что уж давно не мог самостоятельно вставать со стула, он, однако, выглядел вполне ладным, даже красивым в своей тучности – у бирманцев плоть с возрастом не оплывает буграми складок, как у белых, а гладко наливается, подобно спелым плодам. Все его одеяние состояло из обычного в местном быту клетчатого изумрудно-малинового аракнезского лонджи[2 - Популярный в странах Юго-Восточной Азии вид как мужской, так и женской одежды, представляющий собой сшитое цилиндром и надетое на голое тело тканое полотнище, верхний край которого завязывают особым узлом у подмышек или на талии. Родиной считается Аракан, некогда самостоятельное государство, а ныне область на юго-западе Бирмы (Мьянмы).]; в пол упирались

босые пухлые ступни очень кривых коротких ног с пальцами одинаковой длины. Голова была наголо обрита, глаза на широком, без единой морщины лице темнели рыжим янтарем. Угощаясь листьями из стоявшего на столе лакированного ларчика, У По Кин жевал бетель и думал о прожитых годах.

Жизнь сложилась блестяще. Самое раннее воспоминание хранило чувства голопузого малыша, видевшего в 1880-х победный марш британцев на Мандалай[3 - Город в Центральной Бирме, порт на реке Иравади.]. Помнился ужас от колонн красных мундиров краснолицых гигантов, пожирателей коров, помнились длинные винтовки за их спинами и мерный грохот их башмаков. Заставивший удрать подальше детский страх вмиг почуял безнадежность состязания между своим народом и племенем этих великанов. С тех самых пор определилась цель – примкнуть, пиявкой присосаться к могучим чужакам.

В семнадцать лет он попытался найти место подле администрации новых властей, но безродному оборванцу это не удалось, и три года пришлось шнырять по закоулкам мандалайских базаров, прислуживая, а иногда и воруя. В двадцать ему повезло – добыв удачным шантажом четыре сотни рупий, он тотчас поехал в Рангун, в столицу, где за взятку купил себе официальную должность.

Местечко, несмотря на мизерное жалованье, оказалось довольно теплым. В те времена в банде чиновников шла постоянная нажива от расхищения имперских портовых складов, и По Кин (тогда еще просто По Кин, почтительное «У» добавилось гораздо позже), естественно, занялся тем же. Впрочем, не по его талантам было скромно таскать гроши да крохи. Однажды власти вознамерились расширить младший начальственный состав введением туда туземных служащих; приказ только готовился, но даровитый По Кин умел, в частности, все пронюхать неделей раньше остальных. И он не упустил свой шанс – донес на сослуживцев прежде, чем те почуяли опасность. Большинство вороватой чиновной мелюзги отправилось за решетку, а честного По Кина наградили местом помощника квартального инспектора. С тех пор он регулярно получал повышения. Будучи ныне, в свои пятьдесят шесть, судьей округа, он вскоре мог, пожалуй, занять высокий пост представителя комиссара, то есть добиться положения наравне с англичанами и даже выше многих из них.

Судейская система У По Кина была проста. Ни за какие дары он не стал бы выносить беззаконный приговор, ибо знал – рано или поздно продажный судья попадется. Его мудрый, надежный метод состоял в том, чтобы, приняв взятки обеих спорящих сторон, решать дело строжайше по закону. Это, кстати, весьма

укрепляло служебную репутацию. А в части доходов, помимо взяток от клиентов, он учредил некую твердую личную дань с подведомственных деревень; неплательщики карались нашествием бандитских шаек, либо арестами старейшин по сфабрикованным обвинениям, либо иными бедами, которые кончались лишь при полном расчете. Судье также выплачивалась доля от грабежей в его районе. И все это, конечно, было известно всем (кроме тупо уверенного в подчиненных британского начальства), но попытки разоблачения терпели крах, так как любого обвинителя У По Кин с легкостью позорил толпой подкупленных свидетелей, потоком встречных обвинений и в итоге набирал еще больший вес. Фактически он был неуязвим: во-первых, отличался безупречным судейством, а во-вторых, тонко ведя свои интриги, не допускал тут ни ошибок, ни небрежности. Будущее его рисовалось ясно – и далее от успеха к успеху вплоть до пышнейших похорон почтеннейшего богача.

И даже смерть не остановит этот счастливый путь. Буддисты верят, что творивший зло человек при следующем рождении явится жабой, крысой или иной мерзкой тварью, а У По Кин был истовым буддистом, но он намеревался предотвратить эту грозящую опасность. Конец жизни он посвятит свершению праведных деяний, сумма которых перевесит бремя грехов. К заслугам добродетели относится, например, возведение пагод. Что ж, он построит четыре пагоды, и пять, и шесть, и семь (монахи скажут, сколько надо!), выстроит пагоды с ажурной каменной резьбой, золочеными круглыми крышами, с множеством звенящих на ветру, поющих каждый свою хвалу небу колокольчиков. И возродится человеком – не женщиной, что означало бы разряд, подобный крысам и лягушкам, – а именно мужчиной или уж в крайнем случае мощным и величавым слоном.

Мысли текли в сознании У По Кина преимущественно цепочкой картинок; мозг его, хоть и хитроумный, был все же варварским, не слишком склонным к абстрактному мышлению. Но вот сюжеты данной темы истощились. Уперев толстые кульки рук в подлокотники, У По Кин слегка повернулся и крикнул, вернее, просипел:

– Ба Тайк! Эй, Ба Тайк!

Из-за бисерной шторы мигом возник слуга – малорослый рябой человечек, забитый и явно недокормленный (осужденному воришке под постоянной угрозой одним словом отправить его в тюрьму хозяин не платил ни гроша). Двигался Ба Тайк крадучись, кланяясь так низко, что приближение его виделось робким

отступлением.

– Слушаю, наисвятейший.

– Есть кто-нибудь ко мне?

Ба Тайк по пальцам перечислил посетителей:

– Там, ваша честь, деревенский староста из Титпингаи – принес подарки, и двое избитых деревенских жаловаться пришли, тоже с подарками. Еще вас желает видеть Ко Ба Сейн[4 - Предшествующая бирманскому имени добавка «Ко» указывает некое старшинство или выражает достаточную степень уважения; употребляется в обращении к офицерам, чиновникам, старшим родственникам и т. п.], старший клерк из Управления. Потом еще констебль Али Шах и бандит, как зовут, не знаю, – ссора вроде бы из-за браслетов, которые они вместе украли. Девчонка еще деревенская с младенцем.

– Ей чего?

– Говорит, младенец от вас, наисвятейший.

– А-а! Сколько принес староста?

Ба Тайк доложил, что всего лишь десять рупий и корзину манго.

– Скажи старосте, – распорядился У По Кин, – с него положено двадцать рупий, плохо будет ему и всей деревне, если завтра же денег не принесет. Теперь приму других. Позови ко мне Ко Ба Сейна.

Тотчас явился Ба Сейн, узкоплечий, очень высокий для бирманца, со светло-кофейным, удивительно неподвижным лицом. У По Кин считал его весьма полезным, ведь от этой прилежной, начисто лишенной воображения деревяшки мистер Макгрегор, представитель комиссара в Управлении, не скрывал ничего. После мысленной ревизии своих успехов У По Кин встретил гостя благодушно, любезно махнув ладонью на ларчик с бетелем.

– Ну, уважаемый Ба Сейн, что ж наше дело? Надеюсь, как сказал бы дорогой наш мистер Макгрегор, – тут судья перешел на английский, – «некоторый, м-м, прогресс, м-м, наблюдается»?

Не улыбнувшись шуточке, торчащий сухой жердью на стуле для посетителей Ба Сейн ответил:

– Прекрасно, сэр. Утром получено, взгляните.

Он протянул экземпляр двуязычной газеты «Сыны Бирмы», скверно отпечатанного на шершавой, едва ли не оберточной бумаге восьмистраничного листка, сляпанного из новостей столичного «Рангунского вестника» и всякой высокопарной чуши местных националистов. На последней странице шрифт смазался траурной пеленой, будто в знак скорби о непопулярности издания. Статья, интересующая У По Кина, гласила:

«В эру счастья, когда нас, жалких темнокожих, озарил свет великой западной культуры, подарившей кино, винтовки, пулеметы, сифилис и другие неисчислимые блага, что может воодушевить сильнее, нежели сама жизнь наших белых благодетелей? Читателю, несомненно, будут любопытны кое-какие сценки на просторах родной Кьяктады. Особенно если героем их предстанет наш глава, представитель комиссара, досточтимый мистер Макгрегор.

Благороднейший мистер Макгрегор являет собой тот тип Истинного Джентльмена, образчики коего ныне столь часто радуют наш взор. Он, по выражению дражайших европейских братьев, «опора семьи и общества». О да, мистер Макгрегор чрезвычайно предан семейным ценностям! Настолько, что за год успел обзавестись в Кьяктаде тремя детишками, а на предыдущем месте службы, в округе Шуэмо, породил шестерых потомков. Видимо, лишь рассеянностью мистера Макгрегора объясняется то, что своих чад с их матерями он оставил без какой-либо помощи, предоставив им хиреть и голодать, и…»

Текст, занимавший целый столбец и выделенный особым набором, при всей гнусности содержания, своим стилем заметно превосходил уровень прочих материалов. Вытянув руку с газетой (он страдал дальнозоркостью), У По Кин сосредоточенно читал, рот его приоткрылся, демонстрируя массу великолепных

мелких зубов, залитых алым соком бетеля.

– Редактора посадят на шесть месяцев, – заключил он.

– Ему нипочем. Только, говорит, в тюрьме и отдохнешь от кредиторов.

– Но неужели ваш писарь Хла Пи сам сочинил эту статью? Дельный парнишка! Зря болтают, что от правительственных школ никакого толка. Да, быть Хла Пи большим начальником!

– Вы думаете, сэр, статьи будет достаточно?

У По Кин молчал. Натужное пыхтение дало знать о его желании подняться. Немедленно скользнувший из-за шторы Ба Тайк и гость помогли ему встать. Колыхнувшись, уравновесив глыбу живота, словно грузчик корзину с рыбой, хозяин взмахом руки отослал слугу.

– Нет, – наконец ответил он Ба Сейну. – Ни в коей мере не достаточно. Но для начала годится. Слушайте.

У По Кин через перила сплюнул жвачку, заложил руки за спину и начал мелкими шажками, переваливая необъятные бедра, прохаживаться по веранде. Говорил он на жаргоне туземных служащих, уснащая английские обороты бирманскими словечками.

– Итак, повторим. Мы хотим свалить супер-интенданта Верасвами, доктора, что заведует тюрьмой. Хотим прижать его, замазать грязью и прихлопнуть. Дело довольно тонкое.

– Да, сэр.

– Риска не будет, если осторожно. Противник наш не писарь или надзиратель. У нашего противника высокий чин, а человек с высоким чином, пусть даже он индус, – это не мелкий клерк. С тем как? Обвинение, пара дюжин свидетелей, увольнение и под арест. Здесь так просто не выйдет, здесь моя тактика – тихо-тихо, тихо-тихо. Без шума и, главное, без официальных разбирательств, где всегда есть какой-нибудь шанс оправдаться. И все-таки необходимо за три

месяца вбить в головы европейцев, что Верасвами хуже всякого бандита. Чем его зацепить? Взятками не получится, он не берет. Тогда чем?

– Можно бы устроить тюремный бунт, – сказал Ба Сейн. – Доктор – начальник, ему придется отвечать.

– Слишком опасно! Сторожа начнут палить из ружей во всех и каждого, это мне ни к чему. Да и дороговато. И потом ясно же, какое преступление нужно изобличить – предательство, тайную пропаганду. Мы должны убедить белых в мятежных, антибританских кознях доктора. Это для них страшнее взяток; к туземным хапугам они привыкли. Вот хоть на миг заставь их заподозрить его в измене, и с ним покончено.

– А как докажешь? – возразил Ба Сейн. – Доктор ведь прямо обожает белых; всегда так сердится, если кто скажет против них. Разве ж они поверят?

– Бросьте, бросьте! – лениво отмахнулся У По Кин. – В таких случаях им плевать на аргументы. Насчет всяких там темнокожих сомнение для них уже есть доказательство. Ручеек анонимных писем сработает великолепно. Нужно лишь упорство: пиши донос, еще пиши, опять пиши – лучшее средство с европейцами. Письмишко за письмишком всем здешним белым, а едва шевельнется их подозрительность… – Выпростав из-за спины жирную руку, У По Кин щелкнул пальцами. – Наша статейка в «Сынах Бирмы» их разъярит. Отлично! Далее внушим им, что автор – доктор.

– Не очень-то внушишь, когда у него столько белых друзей. Они, как заболеют, сразу к нему. И мистеру Макгрегору он тоже флюс вылечил. Уважают они его.

– Ах, почтенный Ба Сейн, не знаете вы их натуру! Если они и ходят к Верасвами, так потому, что других лекарей здесь нет. Никакой европеец никакому азиату не доверяет. Проблема одна – анонимки в достаточном количестве. И не останется у доктора этих приятелей, я позабочусь.

– А мистер Флори, что торгует лесом? – выговаривал Ба Сейн «мистер Порли». – Он ему верный. Как живет в Кьяктаде, утром всегда заходит к доктору, я вижу. Он даже два раза звал доктора к себе в гости.

– О-о, тут вы правы. Тут серьезная помеха; до индийца не добраться, пока он в дружбе с белым. У индийца тогда этот – как его? словечко-то их любимое? – «престиж»! Но Флори быстренько покинет друга, лишь на того свалятся неприятности; люди его народа не хранят верности туземцам. Притом мне довелось узнать, что Флори трус. Его я беру на себя. А ваше дело, уважаемый Ба Сейн, следить и следить за Макгрегором. Писал он еще комиссару секретной почтой?

– Пару дней назад была депеша, мы ее распечатали над паром, но там ничего важного.

– Ну-ну, скоро подкинем кое-что важное. И как раз подоспеет другая штука, о которой я уже говорил вам. Сделаем, – как это Макгрегор шутит? – «собьем двух пташек одним камушком». Целую стаю пташек, кха-ха-ха!

Смех выразился мерзким харкающим клокотанием, однако прозвучал весело, даже по-детски невинно. О «другой штуке», слишком тайной для обсуждений на веранде, У По Кин говорить не стал. Видя, что беседа закончена, Ба Сейн встал и поклонился, как складной метр.

– Еще какие-нибудь пожелания, ваша честь?

– Присмотрите, чтобы газета непременно попала к Макгрегору. И скажите Хла Пи, пусть заболеет, скажем, дизентерией – сидит дома. Он мне понадобится анонимки сочинять. Пока все.

– Можно идти, сэр?

– Идите, храни вас небо, – рассеянно кивнул судья и снова вызвал слугу.

У По Кин попусту не тратил ни минуты. В быстром темпе разделался с остальными визитерами и выставил родившую деревенскую девчонку, которой хладнокровно заявил, что знать ее не знает. Тем временем настал час завтрака. Точнейшим образом соблюдавшее расписание брюхо свело острыми спазмами. У По Кин нервно закричал:

– Ба Тайк! Эй, ты! Кин-Кин! Еду мне! Есть хочу!

За шторой, в парадной гостиной, уже был накрыт стол: громадная миска риса и дюжина тарелок с карри, сушеными креветками, ломтями зеленых манго. Вперевалку добравшись до стола, У По Кин сел и, хрюкнув, накинулся на еду. Его жена Ма Кин – худенькая, лет сорока пяти, с кротким смугленьким обезьяньим личиком, – стояла сзади и прислуживала. Чавкающий супруг не обращал на нее никакого внимания. Зарывшись носом в гору риса, он пыхтел, пальцами жадно пихал в рот угощение. У По Кин поглощал пищу в таких чудовищных объемах, так алчно и страстно, что трапезы его скорее походили на оргии, рисово-каррийное распутство. Наевшись, он отдышался, сытно рыгнул разок-другой и велел жене принести зеленую бирманскую сигару: английского табака, по его мнению, безвкусного, он не признавал.

Затем, облачившись при помощи Ба Тайка в официальный наряд, судья полюбовался собой перед высоким зеркалом гостиной. Гостиная, с деревянными стенами и двумя подпирающими крышу колоннами (вернее, просто стволами тиковых деревьев), была, как все бирманские жилища, неряшливой и темной, хотя хозяин постарался обустроить ее «по англичанской моде», для чего украсил буфетом, стульями, печатными портретами британской королевской семьи и огнетушителем. Пол устилали циновки, густо заляпанные соком лимона и бетеля.

Ма Кин уселась с шитьем на полу, а У По Кин топтался перед зеркалом, пытаясь обозреть себя сзади. Его роскошный наряд составляли шелковый бледно-розовый гаунбаун[5 - Более парадный, чем обычный плотно повязанный платок, мужской головной убор, состоящий из косынки, накрученной на плотную шлемовидную шапочку-основу.], крахмального муслина эйнджи[6 - Верхняя одежда типа распашной рубашки или легкой куртки на кнопках.] и парчовый пасо[7 - Парадная мужская юбка бирманцев.] с радужным оранжево-желтым переливом. Еле-еле повернув голову, судье удалось все-таки разглядеть блеск на своих туго обтянутых парчой огромных ягодицах. Тучностью У По Кин гордился как несомненным символом величия: нищий худышка сделался жирным, грозным богачом. В сознании у него даже возник некий почти поэтический образ: пышное его тело разбухало, вбирая плоть поверженных врагов.

– Мой новый пасо стоил двадцать две рупии, а, Кин-Кин? – улыбнулся он.

Согнутая в углу над шитьем Ма Кин была женщиной простой, старомодной, так и не освоившей неудобные европейские стулья. Каждое утро она сама ходила за

провизией, неся корзину по-крестьянски на голове, а вечерами молилась где-нибудь в саду, встав на колени и обратив лицо к шпилю венчавшей город пагоды. Уже более двадцати лет ей поверялись все тайные козни супруга.

– Ко По Кин, – вздохнула она, – ты сделал в жизни много зла.

У По Кин отмахнулся:

– Ну и что? Пагоды построю, искуплю, еще успеется.

Ма Кин вновь опустила голову к шитью, с тем неуступчивым видом, каким обычно выражалось ее неодобрение.

– Но зачем опять что-то замышлять? Я слышала – у вас с Ба Сейном какие-то ловушки для индийского доктора. Чем он мешает вам? Он добрый человек.

– Что ты, женщина, понимаешь в серьезных делах? Верасвами мне поперек дороги. Во-первых, взяток не берет и этим всем нам вредит, а кроме того… Ладно, с твоим умишком не осилить.

– Ох, Ко По Кин, ты стал очень богатым, очень важным, но что хорошего тебе прибавилось? В бедности у нас было больше радости. Помнишь, когда ты служил простым надзирателем и мы купили свой первый дом? Как мы гордились новой плетеной мебелью и твоей авторучкой с золотым зажимом! А как почетно это было, когда молодой полисмен-англичанин зашел к нам, и сидел на лучшем нашем стуле, и выпил у нас за столом бутылку пива! Счастье не в деньгах, не в богатстве. И чего ж тебе еще?

– Чепуху мелешь, женщина! Займись кухней, шитьем, а государственные дела оставь тем, кто в них разбирается.

– Не знаю, не знаю, я твоя жена и всегда тебе повиновалась. Но все-таки не стоит медлить с заслугами перед небом. Старайся заслужить побольше небесной милости, Ко По Кин! Купи, например, живых рыб и выпусти обратно в реку – это ведь очень праведно. Или вот – приходившие утром за рисом монахи сказали, что в монастыре два новых служителя и им голодно. Не хочешь ли чего-нибудь послать для них? Я ничего не дала, чтобы этот добрый поступок оставить

тебе.

У По Кин наконец оторвался от зеркала, краем уха поймав довольно разумный призыв. Он никогда не упускал случая ненакладно свершить благое дело, которое ему виделось чем-то вроде вложений под высокий процент. Каждая возвращенная в реку рыбка, каждая чашка риса монаху продвигали к блаженству нирваны. Что ж, случай подходящий! У По Кин велел отправить в монастырь корзину манго, принесенную деревенским старостой.

Затем он вышел и в сопровождении Ба Тайка, тащившего пачку бумаг, пустился в путь. Ступал он медленно, ровно и бережно неся свой огромный живот, держа над головой шелковый желтый зонт. Парчовый пасо сверкал на солнце сахарной глазурью. Судья следовал в должность разбирать сегодняшние тяжбы.

## 2

В тот час, когда для судьи У По Кина началось деловое утро, «мистер Порли», лесоторговый агент и друг доктора Верасвами, направлялся из дома в клуб.

Это был жгучий брюнет с обильной жесткой шевелюрой, короткими усиками и от природы смугловатой, выжженной солнцем кожей. Довольно крепкий, не растолстевший и не облысевший, Флори выглядел не старше своих тридцати пяти лет. Правда, дряблая припухлость вокруг глаз и впалые, явно не бритые поутру щеки, несмотря на загар, обличали отсутствие здоровой бодрости. Одет он был в стандартный для этих мест костюм: белая рубашка, армейские чулки и шорты из плотного хаки, только вместо «топи» (тропического шлема) – круто сдвинутая набекрень, затенявшая пол-лица мятая войлочная панама. На запястье висел бамбуковый стек с плетью, возле ног резво бежала Фло – черный кокер-спаниель.

Все это, однако, виделось во вторую очередь. Первым в глаза бросалось кошмарное родимое пятно, которое неровным полумесяцем ползло по левой щеке от виска до рта. Слева лицо казалось устрашающе разбитым – сизое пятно темнело, как огромный кровоподтек. И Флори ни на миг не забывал о своей метке. Едва кто-нибудь появлялся вблизи, он начинал привычно маневрировать, стараясь встать боком, вывести из поля зрения свое уродство.

Жил Флори на вершине холма, за армейским плацем, у самого края джунглей. От плаца дорога круто шла вниз, по бурому выгоревшему склону редкими яркими пятнами белело полдюжины бунгало местных британцев. Все зыбилось, дрожало сквозь пелену знойного воздуха. На полпути с холма располагалось обнесенное белой каменной стеной английское кладбище, рядом притулилась миниатюрная, крытая жестью церковь. Неподалеку стоял Европейский клуб. Причем именно клуб – одноэтажный деревянный барак – являлся главным, центральным зданием города. В любом месте Британской Индии клуб европейцев – духовная цитадель верховной власти, блаженная нирвана, по которой тщетно томится вся чиновная и торговая туземная знать. Относительно Кьяктады подобное значение можно было смело удвоить, ибо особой гордостью здешнего клуба являлось то, что он, едва ли не единственный в Бирме, был наглухо закрыт для азиатов. Позади клуба, алмазно сверкая, катила могучие бурые воды Иравади, а за рекой тянулись просторы рисовых полей, очерченных у горизонта цепью чернеющих холмов.

Сам туземный город, со всем тюремно-юридическим ассортиментом, находился правее, почти целиком скрытый зеленой рощей фиговых деревьев; виднелся лишь торчащий над кронами золотым копьем шпиль пагоды. Типичный городок Верхней Бирмы, не особенно изменившийся со времен Марко Поло, Кьяктада могла бы продремать в средневековье еще много столетий, если бы не оказалась подходящим конечным пунктом железнодорожной ветки. В 1910-м правительство возвысило местечко до ранга окружного центра и очага прогресса, что выразилось учреждением судебно-полицейских контор с целой армией очень жирных, но вечно голодных служителей закона, устройством школы, больницы и, разумеется, возведением очередной из тех внушительных, вместительных тюрем, которыми англичане застроили всю землю от Гибралтара до Гонконга. Сейчас городского населения насчитывалось около четырех тысяч, в том числе пара сотен индийцев, несколько десятков китайцев и семь человек европейцев. Имелось также два лица смешанных, евроазиатских кровей – мистер Самуил, сын баптистского миссионера, и мистер Франциск, сын миссионера католического[8 - В именах крещеных полукровок намек на идейное соперничество религиозных миссий: ветхозаветное «Самуил» как знак протестантизма, признающего священной основой только Библию, и «Франциск» – имя, отражающее католический культ святых (в частности, основателя ордена францисканцев).]. Ничего сколько-нибудь примечательного в городке не было, за исключением индийского аскета, что уже двадцать лет проживал на дереве возле базара, спуская по утрам веревку с корзиной, куда ему клали еду.

Вышедшего за ворота Флори одолевала зевота; хмель от вчерашней пьянки еще не выветрился, яркий свет отзывался нытьем в печени. «Чертова дыра», – бормотал он, болезненно щурясь на открывающийся с холма вид. А поскольку никто, кроме собаки, его не слышал, он, спускаясь по раскаленной красной тропе, похлестывая стеком иссохшую траву, стал на мотив псалма «Свят, свят, Ты, Единый, святостью великой» напевать «Черт, черт, чертовщиной до краев набитый». Было почти девять часов, с каждой минутой солнце пекло все яростней. Жара пульсирующим шумом отдавалась в висках, будто по голове ритмично били тяжелой подушкой. Возле клуба Флори замедлил шаг, раздумывая, зайти или проследовать дальше, к доктору Верасвами. Потом вспомнил, что день «почтовый», что должны прибыть английские газеты, и вдоль высокой сетчатой ограды теннисного корта, сплошь обросшей ползучей зеленью со звездами розовато-лиловых цветков, пошел в клуб.

Дорожку окаймлял чисто английский бордюр: флоксы и петунии, шорник и штокрозы. Еще не спаленные зноем цветы поражали размерами и роскошью; кустик петунии разросся чуть не в древесный куст. Но никаких лужаек, а вместо родного садового кустарника – буйство могучей местной флоры: вздымающие свои кроваво-красные зонты огромные золотые могары, плотно облепленный крупными желтоватыми цветками тропический жасмин, фиолетовые бугенвиллеи, алые гибискусы, пунцовые китайские розы, ядовито-зеленые кротоны, перистые листья тамаринда. Глаза слезились от яркой, дикой пестроты. Полуголый мали (садовник) шустрил с лейкой в этих цветочных джунглях, напоминая громадную птицу, пьющую нектар.

На ступеньках клуба стоял, засунув руки в карманы, белесый англичанин со слишком широко расставленными светлыми глазами и удивительно тощими икрами – суперинтендант окружной полиции мистер Вестфилд. Покачиваясь взад-вперед, топорща верхнюю губу и щекоча пшеничными усами нос, он откровенно скучал. Реакция на появление Флори ограничилась едва заметным кивком. Изъяснялся Вестфилд по-солдатски кратко, рубя фразы до минимальных порций. И хотя голос его всегда звучал глухо, мрачно, тон речей почти неизменно был шутлив.

– Привет, друг Флори. Адски жарит с утра?

– Полагаю, другого в эту пору ждать не приходится, – ответил Флори, слегка отворачиваясь, пряча свое пятно.

– Проклятие! Еще пару месяцев уж точно. Год назад до июля ни облачка. Чертово небо – синий таз эмалированный. А что, неплохо бы сейчас по Пикадилли?

– Газеты привезли?

– Все тут: и старина «Панч», и «Щеголь», и «Парижская жизнь». С тоски по родине интересуешься? Пошли-ка выпьем, пока лед есть. Дружище Лакерстин успел заправиться. Уже хорош.

Под угрюмый клич Вестфилда: «Веди на бой, Макдуф!»[9 - Реплика из трагедии Шекспира «Макбет».] – они вошли внутрь. Обшитый тиковыми досками, пропахший битумной пропиткой клуб вмещал всего четыре комнаты. Одну занимала обреченная чахнуть в безлюдье «читальня» с пятью сотнями заплесневелых романов, другую загромождал ветхий замызганный бильярдный стол, довольно редко привлекавший игроков, ибо тучами налетавшая, жужжавшая вокруг ламп мошкара беспрерывно валилась на сукно. Имелась еще комната для карточной игры и, наконец, салон, с веранды которого открывался вид на реку, хотя сейчас, ввиду палящего солнца, все проемы были завешены зелеными бамбуковыми циновками. Салон представлял собой неуютный зальчик, устланный кокосовыми половиками, обставленный плетеными стульями и столами с россыпью глянцевых иллюстрированных журналов, украшенный по стенам экзотикой «восточных картин» и вилками рогов здешних оленей-самбаров. Свисавшее с потолка опахало лениво пошевеливало столбы пыли в жарком воздухе.

В салоне отдыхали трое. Под опахалом, навалившись на стол, обхватив руками голову, стонал багровый, несколько одутловатый здоровяк лет сорока – страдающий с похмелья мистер Лакерстин, представитель лесоторговой фирмы. Перед доской для объявлений свирепо вперился в какой-то листок представитель другой подобной фирмы – мистер Эллис, тщедушный и нервозный, с ежиком жестких волос над остренькой бледной физиономией. Офицер Максвелл, военный инспектор лесных угодий, растянулся в шезлонге, листая номер «Просторов»; виднелись только его мосластые ноги да кисти рук с широкими, заросшими густым пухом волос запястьями.

– Вот безобразник. – Вестфилд потрепал за плечо стонущего Лакерстина. – Пример юношеству, а? Помилуй, господи, нас, грешных. И не захочешь – призадумаешься, что сам явишь в свои сорок.

Лакерстин буркнул нечто похожее на «бренди».

– Бедолага, – посочувствовал Вестфилд, – мученик беспробудной пьянки. Насквозь проспиртован. Вроде спавшего без москитной сетки полковника, про которого слуга объяснял: «Ночью хозяин сильно пьяный, чтобы москитов замечать, – утром москиты сильно пьяные, чтоб замечать хозяина». Эх ты, с вечера не просох, но дай еще. А ведь малютка племянница едет погостить к дяде. Нынче вечером прибывает, а, Лакерстин?

– Да хватит эту пьянь трясти! – не оборачиваясь, раздраженно бросил Эллис говорком лондонского кокни.

– В… ее, племянницу! Плесните бренди, Христа ради! – пробормотал Лакерстин.

– Хороший урок будет барышне? По семь деньков в неделю любоваться дядюшкой под столом? Эй, бармен! – сжалился Вестфилд. – Бренди для мистера Лакерстина!

Мускулистый бармен, пожилой темнокожий дравид[10 - Представитель древнейшей индийской (видимо, доарийской) этнической группы народов, населяющих главным образом Южную Индию.] с прозрачно-желтыми собачьими глазами, принес на медном подносе бренди. Флори и Вестфилд заказали джин. Лакерстин, залпом осушив стакан, откинулся на стуле и слегка умерил свои стенания. Под стать простецкому мясистому лицу со щеточкой усов, он был действительно малым простым, претендовавшим лишь на то, что называлось у него «чуток гульнуть». Супруга управляла им единственно возможным способом: не оставляла без надзора более чем на пару часов. Только раз, через год после свадьбы, она оставила его на пару недель и, вернувшись чуть раньше срока, нашла благоверного в обществе трех юных нагих бирманок: две с обеих сторон поддерживали кавалера, а третья вливала виски ему в рот. С тех пор, жаловался Лакерстин, жена стерегла его, «как чертова кошка чертову мышь». Впрочем, он все же ухитрялся «гульнуть» – недолго, зато и нередко.

– Дьявол! Что у меня сегодня с головой? – поморщился Лакерстин. – Кликни бармена, Вестфилд, надо еще принять, пока супруга не нагрянула. Грозит урезать мою норму до четырех стаканчиков, когда племянница приедет, провались они обе!

– Кончайте дурака валять, эй, всех касается! – сердито крикнул Эллис, вечно кого-нибудь коловший и цеплявший, язвительности ради напиравший на свое лондонское просторечие. – Видали, чё нам тут Макгрегор предписал? Поднес сюрпризик! Максвелл, тебе говорю, очнись и слушай!

Максвелл опустил газету и оказался свежим розовощеким блондином лет двадцати пяти (возраст весьма ранний для занимаемой им должности), чьи крупные конечности и густые белые ресницы вызывали в памяти жеребенка ломовой коняги.

Ловким злобным рывком отцепив с доски листок, Эллис начал громко читать послание мистера Макгрегора, совмещавшего пост главы местной администрации с обязанностями председателя клуба:

– Нет, вы только послушайте: «Ввиду того, что на данный момент состав клуба не включает лиц азиатского происхождения, и, принимая во внимание официально утвержденный регламент, согласно которому в европейских клубах допускается прием членов из числа как уроженцев Запада, так и жителей Востока, возникает необходимость рассмотреть пути возможной подобной практики в Кьяктаде. Вопрос будет предложен для обсуждения на ближайшем общем собрании. С одной стороны, здесь может быть указано…» Ну, хватит этого занудства, строчки не напишет без приступа словесного поноса. Ясно – хочет порушить наши правила и протащить сюда негритоса. Какого-нибудь уважаемого доктора Верасвами-Вшивотами. Вот бы уважил-то? Рассядется тут черномазый и будет в нос тебе чесноком вонять. Черт, не могу! Нам надо стеной встать, едино – всей командой придавить эту заразу. Что скажешь, Вестфилд? Флори?

Раскуривая черно-зеленую, едко дымящую бирманскую черуту, Вестфилд философски пожал плечами:

– Думаю, никуда не деться. Теперь по всем клубам полно туземных задниц. Говорят, даже в клубе Пегу[11 - Город, административный центр в Нижней Бирме.]. Страна, видишь ли, на пути прогресса. Мы вроде бы последние, кто держится.

– Мы, именно! И будем, будем, разрази меня, держаться. Да я скорей в канаве сдохну, чем пущу сюда негритоса! – стукнул Эллис карандашом по доске. С

гримасой той занятной ярости, что у части людей нередко сопровождает действия самые пустячные, он снова прицепил листок и мелко, аккуратно, на манер официального титула, приписал возле подписи мистера Макгрегора «сэр П меня в Ж». Вот что я думаю насчет его идейки. Так прямо и заявлю ему, когда он явится. А ты что скажешь, Флори?

Флори пока не проронил ни слова. Будучи вообще любителем поговорить, он в клубных разговорах почти не принимал участия и сейчас читал статью Гилберта Честертона в «Лондонских новостях», левой рукой гладя положившую голову ему на колени Фло. Эллис, однако, был из породы неотвязных спорщиков, требующих непременной покорности своему мнению. Он повторил вопрос, Флори поднял глаза, их взгляды встретились. Тут же у Эллиса от гнева побелели ноздри и кожа вокруг носа стала пепельной. Внезапно он разразился бешеной руганью, которая могла бы ошеломить, если бы в клубе не привыкли к ежедневным подобным взрывам.

– Будь оно проклято! А я-то думал, что, когда надо отстоять единственное место, где со своими посидишь, отдохнешь от вонючих черных свиней, у тебя приличия хватит поддержать меня. Хоть даже этот вшивый доктор, педик черномазый, тебе дружок. Мне наплевать, что ты приятелей с помойки подбираешь. Нравится шляться к Верасвами, выпивать с ихней братией – валяй! Когда не в клубе, так твори что хочешь. Но, клянусь богом, если кой-кому охота сюда черных – не выйдет. Сдается мне, ты бы не прочь втащить в клуб этого своего Верасвами? Чтоб он тут в наши разговоры лез, руки нам жал поганой потной лапой и чесноком вонял. Ей-богу, если эта харя только в дверь сунется, вышибу пинком под зад! Мразь черная… толстобрюхий!.. – и т. п.

Монолог длился несколько минут. Звучало это любопытно, ибо говорилось от всего сердца. Эллис искренне ненавидел восточных людей, ненавидел с острым физическим отвращением, будто какую-то вредную нечисть. Годами живя среди бирманцев, он так и не привык к их смуглым лицам; любая тень симпатии к туземцам виделась ему жутким извращением. Он был неглупым человеком и дельным служащим, но из тех – к сожалению, типичных – англичан, коим ни при каких условиях не стоило бы позволять даже приближаться к Востоку.

Флори поглаживал собачий загривок, не в силах поднять глаза на Эллиса. Отметина и в лучшие минуты мешала ему прямо смотреть на собеседника. И он уже заранее чувствовал дрожь в своем голосе, всегда дрожавшем именно тогда, когда так требовалась твердость. К тому же лицо у него подчас непроизвольно

дергалось.

– Уймись, – негромко и угрюмо проговорил наконец Флори. – Нечего кипятиться. Я никогда не предлагал принимать в клуб туземцев.

– Да ну? Чертовски хорошо известно, что ты б не прочь. Чего ж тогда каждое утро таскаться к жирному индяшке? Сидеть с ним за столом, как с белым, пить из стакана, облизанного его черными сальными губами – тьфу, прямо рвет меня!

– Сядь, сядь, старик, не горячись, – вмешался Вестфилд. – Выпей-ка лучше. Плоховат часок для ругани – жарища.

– Ей-богу, – чуть спокойнее бросил Эллис и прошелся туда-сюда. – Ей-богу, парни, я не понимаю. Просто не понимаю! Олуху Макгрегору, вишь ли, приспичило, неведомо с чего, взять к нам в клуб черномазого, а вы сидите и ни гугу. Господи боже, на черта же мы в этой стране? Если не хотим быть хозяевами, что ж тогда вовсе отсюда не убраться? Нам здесь положено управлять стадом этих чертовых черных свиней, отроду рабских тварей, но вместо четкого, единственно понятного для их мозгов правления вдруг подавай равенство с этой швалью. И вам, тупым задницам, будто так и надо! У Флори, вон, в лучших друзьях индус чумазый, который доктором себя величает, поскольку пару лет ходил в какой-то там Индийский университет. А ты, Вестфилд, все вот паясничаешь да гордишься сворой своих продажных полицейских шавок. А тебе, Максвелл, только бы за шлюхами-полукровками бегать. Да-да, слыхал я про твои шашни в Мандалае с одной сучкой по имени Молли Перейра. Небось женился бы на ней, когда б тебя сюда, подальше, не перевели? Такое впечатление, что вы души не чаете в черных скотах. Ну что ж тут, черт возьми, со всеми нами происходит? Нет, ей-богу, не знаю я!

– Иди, прими стаканчик, – позвал Вестфилд. – Эй, бармен! Пивка, что ли, пока лед есть? Эй, пиво нам!

Бармен принес мюнхенского пива. Эллис уселся за общий стол, перекатывая в горячих ладошках одну из запотевших бутылок. Лоб его еще был в испарине, он еще хмурился, но гнев уже остыл. Хотя злость и упрямство его не покидали, вспышки бешенства длились недолго, завершаясь без каких-либо извинений. Перебранки входили в рутинный клубный распорядок. Мистер Лакерстин, взбодрившись, изучал иллюстрации «Парижской жизни». Пропитанный едким

дымом черуты воздух после девяти заметно накалился. Рубашки у всех взмокли от первого в этот день пота и липли к спинам. Сидевший снаружи, качавший за веревку опахало чокра (прислужник) явно заснул на солнцепеке.

– Бармен! – крикнул Эллис и, когда тот явился, приказал: – Живо пойди растолкай драного чокру!

– Да, хозяин.

– Стой!

– Да, хозяин?

– Сколько осталось льда?

– Около двадцати фунтов, хозяин, но хватит, наверно, только на сегодня. Теперь, видимо, будет трудно сохранять лед.

– Не смей, черт подери, так выражаться – «видимо, будет трудно»! Учебник вызубрил? Ты должен говорить: «Прощения, хозяин, лед теперь долго не можно». Придется турнуть малого, если он станет чересчур бойко по-английски растабаривать. Не выношу слуг-грамотеев. Ну, ты понял?

– Да, хозяин, – ответил бармен и ушел.

– Боже! До понедельника без льда! – вздохнул Вестфилд. – Обратно в джунгли едешь, Флори?

– Мне и сейчас там надо быть. Заехал только за почтой.

– И я, пожалуй, куда-нибудь отправлюсь. Командировку выправлю, паек. Тошнит в жару от канцелярии. Парься там под проклятым опахалом, строчи, подписывай. Осточертела жвачка бумажная. Хоть бы снова война.

– Уеду послезавтра, – сказал Эллис. – В это воскресенье, что ли, чертов падре[12 - Несмотря на то что «падре» обычно подразумевает католического священника, речь тут, у англичан Британской Индии, идет о представителе официальной

англиканской церкви.] прибудет? Нет уж, надо сбежать пораньше. Пусть прихожане без меня гундосят.

– В следующее воскресенье, – поправил Вестфилд. – Я-то обязался присутствовать. Как и Макгрегор. Каторжная, должен заметить, работенка у его преподобия: один на всю округу, к нам может добраться раз в полтора месяца. Могла бы и паства быть поотзывчивей.

– Да не про то! Я бы поблеял псалмы из уважения к падре, но прямо видеть не могу, как туземная сволочь прет в нашу церковь. Шайка прислужников-мадрашек[13 - Имеются в виду живущие в индийском штате Мадрас, ныне Тамилнад, тамилы – этнос дравидийской группы.], учителишек-каренов[14 - Карены – второй по численности (после основной бирманской народности мьянма) коренной народ Бирмы.] да еще двое этих желтопузых, Самуил с Франциском, – тоже, вишь, они христиане. На последней службе имели наглость вперед пролезть, усесться возле белых. Надо уже с падре поговорить. Что мы за идиоты – дали волю всяким миссионерам! Пускай, вот, учат черномазых метлой махать по-нашему. А то – «сэр, и моя есть христианин». Дьявольское нахальство!

– Что это тут о паре ножек? – подал голос мистер Лакерстин, протягивая через стол номер «Парижской жизни». – Флори, ты по-французски мастер, на что намекают? Черт, помню я свой первый отпуск, когда, холостяком еще, в Париж съездил. Эх, снова бы!

– А слышали вы «Девицу из города Вокинг»? – вмешался Максвелл, юноша довольно робкий, но, как все его сверстники, обожавший непристойные стишки. Максвелл изложил краткую биографию барышни из Вокинга, раздался смех. В ответ Вестфилд поведал про покинутую ухажером «Бедняжку, живущую в Илинге», а Флори – про то, как «Викарий безусый из Хорсхема» ненароком кого-то укокошил. Хохот усилился. Даже Эллис, смягчившись, прочел несколько стихотворных анекдотов (кстати, шуточки Эллиса, донельзя сальные, всегда были действительно смешны). Несмотря на жару, все оживились, атмосфера стала более приязненной. Кончив с пивом, собрались было заказать новую выпивку, как за стеной послышался скрип шагов, раздался жизнерадостно рокочущий, гулко отзывавшийся в дощатых стенах баритон:

– М-да, в самом деле презабавно! Я, знаете ли, этот эпизод включил в один из моих очерков для «Блэквуда»[15 - Издававшийся в Эдинбурге литературно-публицистический журнал крайне консервативного направления.]. Помню также,

когда наш полк стоял в Проме, был эпизод, о-о, чрезвычайно комичный случай!..

Стало очевидным прибытие председателя клуба. Лакерстин охнул: «Черт, жена…» – и поспешно отодвинул стакан. В салон вошли мистер Макгрегор и миссис Лакерстин.

Мистер Макгрегор являл собой дородного господина весьма за сорок, с физиономией добродушного мопса в золотых очках. Манера выставлять голову из массивных сутулых плеч заслужила ему у местных жителей прозвище Черепаха. На его светлом шелковом костюме ниже подмышек уже выступили пятна пота. Шутливо отсалютовав, сияющий мистер Макгрегор остановился перед доской объявлений, слегка наклонясь и поигрывая за спиной тростью на манер воспитателя школяров. При безусловном дружеском расположении, от мистера Макгрегора веяло столь настойчивой сердечностью, столь упорным приглашением вне службы забыть о его высоком ранге, что расслабиться рядом с ним не удавалось. Стиль его речей явно воспроизводил острословие некоего впечатлившего в ранней юности учителя или священника. Обильно употребляемые старинные обороты, цитаты, поговорки, которые он полагал забавными, непременно предварялись разнообразным тягучим мычанием, возвещавшим юмористичность.

Миссис Лакерстин, дама под тридцать пять, была по-своему даже красива, отличаясь модным изяществом уплощенно-удлиненного фасона. Разговаривала она томно и брюзгливо. При ее появлении все встали. Миссис Лакерстин опустилась на лучшее место, под опахалом, утомленно обмахивая лицо узкой рукой, напоминавшей лапку тритона.

– О, дорогой, эта жара, о боже! Мистер Макгрегор был необычайно любезен, предложив довезти меня в своем автомобиле. Представь, дорогой, наш негодяй рикша опять притворился больным. Не пора ли тебе задать ему хорошенькую трепку? Это кошмар – ходить пешком под этим солнцем.

Не в силах на ногах одолевать четверть мили от дома до клуба, миссис Лакерстин выписала себе рикшу из Рангуна (кроме деревенских воловьих упряжек и автомобиля представителя комиссара, единственный в городишке колесный экипаж). Сопровождая ненадежного Лакерстина в джунгли, супруга его стойко переносила все ужасы дырявых палаток, москитов и консервов, что с лихвой восполнялось капризной хрупкостью в городской штаб-квартире.

– Нет, в самом деле, слуги безобразно разленились, – вздохнула леди. – Не правда ли, мистер Макгрегор? Во времена этих жутких реформ и развязных газетчиков у нас здесь, кажется, уже не осталось никакой власти. Аборигены начинают дерзить почти так же, как наши низшие классы в Англии.

– Надеюсь, все же не до такой степени. Однако демократический душок, несомненно, распространяется, доползая даже сюда.

– А ведь совсем недавно, до войны, аборигены были так почтительны, так мило кланялись с обочины – о, просто прелесть. Мы нашему дворецкому, я помню, платили всего двенадцать рупий в месяц, и он служил, как верный пес. А теперь слуги требуют и сорок, и пятьдесят, и я могу дисциплинировать их только задержкой жалованья.

– Прежний тип слуги исчезает, – согласился мистер Макгрегор. – В дни моей юности лакея за непочтительность отсылали в участок с запиской: «Предъявителю сего пятнадцать ударов плетью». Что ж, как говорят французы, eheu fugaces – ах, мимолетность! Увы-увы, былого не вернуть.

– Точно замечено, – с обычной мрачностью подтвердил Вестфилд. – Не та уже страна, и ждать тут нечего. Финиш, по-моему, Британской Индии. Проиграно. Пора очистить территорию.

По салону прошелестел дружный вздох, вздохнул даже Флори, печально известный склонностью к большевизму, и даже молодой Максвелл, живший в Бирме меньше трех лет. Любой британец знает и всегда знал, что Индия катится к черту, – ведь Индия, как старый добрый «Панч», и не была никогда тем, чем была.

Нетерпеливый Эллис, вновь отцепив листок с доски и протянув его Макгрегору, сердито заговорил:

– Вот что, Макгрегор, прочли мы записку насчет туземца в клубе и считаем это сплошным… – Эллис хотел сказать «дерьмом», но, вспомнив о присутствии миссис Лакерстин, сдержался, – сплошным вздором. В конце концов, мы в клуб приходим приятно время провести, и не хотим мы, чтоб туземцы тут шныряли. Нужно ж хоть где-нибудь передохнуть от них. Все остальные совершенно со мной согласны.

Эллис обвел взглядом сидевших.

– Верно, верно! – хрипло выкрикнул Лакерстин, в надежде своим энтузиазмом заслужить снисхождение супруги, уже увидевшей, конечно, что он напился.

С улыбкой взяв объявление, мистер Макгрегор прочел дополнившую его подпись карандашную приписку «сэр П меня в Ж», внутренне поморщился от чрезвычайной вульгарности Эллиса, однако лишь добродушно усмехнулся. Держаться в клубе веселым славным товарищем стоило не меньше усилий, нежели соблюдение должной дистанции на службе.

– Надо полагать, наш друг Эллис не слишком жаждет общества… м-м… арийского брата?

– Не, не жажду, – отрезал Эллис. – Как и мой дорогой туземный брат. Честно скажу – не люблю негритосов.

На последнем слове, звучащем в корректной Британской Индии кощунством, мистер Макгрегор слегка напрягся. Сам он был абсолютно лишен предрассудков относительно жителей Востока, более того, питал к ним глубочайшую симпатию. Усмиренных аборигенов он находил прелестнейшими существами и всегда с болью воспринимал беспричинные выпады в их адрес.

– Достойно ли, – холодновато произнес он, – именовать этих людей негритосами, употребляя термин сколь оскорбительный, столь и неверный относительно их истинной расовой принадлежности? Коренное население Бирмы состоит из племен монголоидной расы, тогда как обитатели Индии – это арийцы или же дравиды, и все эти народы весьма отличны от…

– Да пошли они! – перебил Эллис, отнюдь не благоговевший перед рангом представителя комиссара. – Зовите их негритосами или арийцами, мне без разницы. Я говорю, черных мы в клуб не пустим. Ставьте на голосование, увидите – все против. Разве что Флори будет за дорогого друга Верасвами.

– Верно, верно! – вновь крикнул Лакерстин. – От меня черный шар, я против, засчитайте!

Мистер Макгрегор досадливо поджал губы. Он оказался в затруднительном положении, ибо идея ввести туземного члена клуба возникла не у него, а была спущена ему сверху. Тем не менее, полагая дурным тоном оправдываться, он мягко, миролюбиво молвил:

– Не отложить ли обсуждение этой темы до следующей встречи? Дадим созреть и отстояться нашим мнениям. А сейчас, – подходя к столу, добавил он, – кто готов разделить со мной некое… э-э… освежающее возлияние?

«Возлияние» немедленно заказали. Уже вовсю пекло, и всех томила жажда. Только Лакерстин, воспрянувший, но под пристальным взглядом супруги сникший и буркнувший бармену «не надо», сидел, сложа руки на коленях, трагически наблюдая, как миссис Лакерстин опустошает свой бокал лимонада с джином. Призвавший к выпивке и подписавший счет за нее мистер Макгрегор сам, однако, предпочел чистый лимонад; единственный из здешних европейцев, он строго воздерживался от алкоголя до захода солнца.

– Все это здорово, – ворчал Эллис, поставив локти на стол и нервно крутя свой стакан (спор с Макгрегором снова разгорячил его). – Все это здорово, но у меня что сказано, то сказано. Сюда туземцам хода нет! Вот такими уступочками мы и подкосили Империю. Цацкались, цацкались с туземцами и только рушили страну. С ними одна политика – как с грязью. Момент критический, надо зубами и когтями драться за свой престиж, плечом к плечу стать и сказать: «Мы здесь хозяева, а вы тут шваль!» – Эллис прижал к столу большой палец и энергично повертел им, словно давя червя. – И ты, шваль, знай-ка свое место!

– Безнадега, старик, – сказал Вестфилд. – Полная безнадега. Что сделаешь, когда параграф руки вяжет? Туземная рвань законы знает лучше нас. Хамят прямо в лицо, а врежешь им – вмиг подадут на тебя заявление. Твердость нужна, но как ее проявишь, если открыто воевать у них кишка тонка?

– Наш бура-сахиб в Мандалае, – вступила миссис Лакерстин, – всегда говорил, что в конце концов мы просто покинем Индию. Молодежь больше не захочет здесь трудиться, чтобы получать в награду лишь грубость и неблагодарность. Мы просто-напросто уйдем. А вот когда аборигены попросят нас остаться, мы скажем: «Нет! Вам дали шанс, но вы его отвергли. Так что прощайте, управляйте страной сами!» Хороший будет им урок!

– Права! Параграфы! – угрюмо отозвался Вестфилд, сосредоточенный на теме губительной законности. Причину развала Империи он видел в непомерно широких правах жителей, а надежду усматривал только в большом туземном бунте, который вынудит ввести режим военного положения. – Жвачка бумажная, писари-индусы всем заправляют. Кончен номер. Одно – прикрыть лавочку и оставить местных вариться в собственном соку.

– Ни черта, ни черта подобного, – заволновался Эллис. – Решимся, так за месяц все выправим. Только быть малость похрабрее. Вон, в Амритсаре-то? Как они вмиг хвосты поджали? Дайер знал, чем их шугануть. Эх, старина Дайер! Подло с ним обошлись. Этим трусам в Англии еще придется за многое ответить.

Тирада Эллиса исторгла у аудитории вздох горестного сожаления, подобно вздохам католиков о незабвенной Марии Кровавой[16 - Имеется в виду Мария I Тюдор – английская королева, на время своего правления (1553–1558) восстановившая католицизм и получившая прозвище Марии Кровавой за жестокие преследования сторонников Реформации.]. Даже мистер Макгрегор, противник чрезвычайных мер и кровопролития, услышав имя Дайера, меланхолично покачал головой:

– Да-да, бедняга! Принесен в жертву столичным политикам. Ну что ж, возможно, со временем, с прискорбным опозданием, они поймут свою ошибку.

– Насчет этого, – хмыкнул Вестфилд, – у моего прежнего начальника была славная байка. Служил в туземном полку один старый сержант. Как-то его спросили, что будет, если британцы уйдут из Индии. Старикан, почесав затылок, говорит…

Флори отодвинул стул и встал. Невыносимо, нет! Срочно уйти, иначе под черепом что-то взорвется, и он начнет крушить мебель, швырять бутылки. Безмозглые, отупевшие от пьянства свиньи! Как удается ежедневно, годами напролет и слово в слово молоть все ту же отвратительную чушь, мусоля тухлый бред со страниц «Блэквуда»? Неужели никто здесь не способен хотя бы захотеть сказать что-нибудь новенькое? Что же за место, что за люди! Что за культура – дикая, стоящая на виски, кислом шипении и восточной экзотике по стенам! Господи, пощади нас, ибо все мы в этом замешаны!

Ничего этого Флори, разумеется, не сказал и постарался не выдать себя выражением лица. Держась за спинку стула, он стоял чуть боком, со слабой, неуверенной улыбкой отнюдь не первого любимца общества.

– К сожалению, мне пора, – сказал он. – Дел по горло, нужно еще кое-что просмотреть перед завтраком.

– Постой, брат, опрокинь еще стаканчик, – махнул рукой Вестфилд. – Заря лишь заблистала. Возьми-ка джин, для аппетита.

– Спасибо, надо бежать. Пошли, Фло. До свидания, миссис Лакерстин, всем до свидания!

– Прямо-таки Букер Вашингтон, друг черномазых, – съязвил Эллис, едва за Флори захлопнулась дверь (каждый, кто выходил, мог быть уверен, что Эллис бросит ему вслед какую-нибудь гадость). – Потопал, видно, к своему Вшивотами. Или слинял, чтоб долю за выпивку не вносить.

– Брось ты, он малый неплохой, – возразил Вестфилд. – Выступит иногда как большевик, но это он так, не всерьез.

– О да, славный парень, очень славный, – любезно подтвердил мистер Макгрегор.

Всякий европеец в Британской Индии по статусу, точнее, по цвету кожи, «славный парень» и неизменно, если уж не выкинет чего-то вовсе непотребного, состоит в этом почетном звании.

– А по мне, от него уж слишком большевичком несет, – стоял на своем Эллис. – Воротит меня от парней, что в дружбе с черными. Не удивлюсь, коли и сам он дегтем разбавлен, не зря по щеке будто смолой мазанули. Пегая морда! И похож на желтопузых – чернявый и кожа как лимон.

Возникла некая бессвязная перепалка из-за Флори, но быстро утихла, ибо мистер Макгрегор ссор не любил. Европейцы продолжили клубный отдых, заказав еще по стаканчику. Мистер Макгрегор рассказал очередной забавный случай на полковой стоянке – из числа анекдотов, звучащих уместно почти во всякой ситуации. Затем разговор вернулся к старым, но не тускнеющим сюжетам:

дерзость туземцев, вялость центра, канувшие златые дни, когда власть британцев поистине являлась властью и лакей за провинность получал «пятнадцать ударов плетью». Эта тематика, отчасти благодаря маниакальной злости Эллиса, прокручивалась регулярно. Впрочем, избыток горечи у европейцев был объясним. Жизнь на Востоке ожесточит и святого. Здесь всем белым, особенно официальным служащим, приходится узнать вкус постоянных издевательских насмешек и оскорблений. Чуть ли не ежедневно, когда Вестфилд, мистер Макгрегор или даже Максвелл проходили по улице, мальчишки-школьники с юными желтыми физиономиями – гладкими, как золотые монеты, и полными столь свойственного монголоидным лицам надменного, доводящего до бешенства презрения, – глумились над чужаками, порой разражаясь гнусным, хищным хохотом. Служба в Британской Индии не сахар. В первобытной примитивности солдатских лагерей, в духоте контор, в пропахших антисептиком унылых станционных гостиницах люди, пожалуй, зарабатывают себе право на несколько раздражительный характер.

Стрелки часов приближались к десяти, и жара сделалась нестерпимой. Лица и голые до локтей руки мужчин покрылись бисером пота. На спине мистера Макгрегора по шелку пиджака все шире расплывалось темное влажное пятно. От ярких лучей, все-таки проникавших сквозь бамбуковые шторы, болели глаза и стучало в висках. С тоской думалось о предстоящем плотном завтраке и ожидающих затем убийственно долгих дневных часах. Поправив сползавшие на потной переносице очки, мистер Макгрегор поднялся.

– Увы, приходится прервать наш легкомысленный симпозиум. Я к завтраку должен быть дома. Дела Империи, так сказать, призывают. Кому-нибудь по пути? И мой автомобиль, и мой шофер к вашим услугам.

– О, благодарю, – откликнулась миссис Лакерстин. – Если можно, подвезите нас с Томом. Какое облегчение, что не надо идти пешком по этому жуткому пеклу!

Все встали. Вестфилд потянулся и, подавляя зевок, шумно втянул носом воздух.

– Двинулись? Надо идти – засыпаю. Ох, целый день корпеть в конторе! Извести вороха бумаги! Боже!

– Эй, не забудьте, теннис вечером, – напомнил Эллис. – Максвелл, черт ленивый, не вздумай опять смыться. Чтобы ровно в полпятого сюда с ракеткой.

– Apre?s vous – после вас, мадам, – галантно шаркнул в дверях мистер Макгрегор.

– Веди на бой, Макдуф! – пробасил, выходя, Вестфилд.

Навстречу хлынула сверкающая белизна. От земли катил жар, как из духовки. Ни один лепесток не шевелился в пестрой гуще свирепо полыхающих под бешеным солнцем цветов. Свет изнурял, пронизывая тело до костей. Веяло какой-то жутью – жутковато было сознавать, что это глянцевое небо, безоблачное, бесконечное, тянется над Бирмой, Индией, Сиамом, над Камбоджей, над Китаем, всюду слепя одинаково яркой, ровной лазурью. Наружные части автомобиля мистера Макгрегора раскалились – не дотронуться. Начиналось то беспощадное время дня, когда, по выражению бирманцев, «нога тихая». Все живое оцепенело; способность двигаться сохранили только люди, колонны разогретых солнцем струящихся через дорожку муравьев и силуэты медленно парящих в знойном небе бесхвостых грифов.

## 3

За воротами клуба Флори свернул налево и пошел вниз по тенистой тропе под кронами фиговых деревьев. Через сотню ярдов загудела музыка – возвращался в казармы отряд военной полиции, строй одетых в хаки долговязых индусов с идущим впереди, играющим на волынке юным гуркхом[17 - Основной непальский этнос. Англичане так называли всех вербовавшихся в Непале наемников; специальные отряды гуркхов представляли собой некий аналог российской «Дикой дивизии».]. Флори шел навестить доктора Верасвами. Жилище доктора – длинное бунгало из пропитанных мазутом бревен – стояло на сваях в глубине обширного запущенного сада, граничившего с садом европейского клуба. Фасад был обращен не к дороге, а к стоящей на берегу реки больнице. Едва Флори открыл калитку, в доме раздался тревожный женский крик, застучала суетливая беготня. Явно не стоило смущать хозяйку. Флори обошел бунгало и, остановившись у веранды, позвал:

– Доктор! Вы не заняты? Войти можно?

Черно-белая фигурка выскочила на веранду, как черт из табакерки. Доктор подбежал к перилам, бурно восклицая:

– Можно ли вам войти? Конессно! И немедленно! Аxx, мистер Флори, как я рад! Быстрее поднимайтесь! Что вы будете пить? Есть виски, вермут, пиво и другие европейские напитки. Аxx, дорогой друг, как я стосковался по приятной и тонкой беседе!

Темнокожий курчавый толстячок с доверчивыми круглыми глазами, доктор носил очки в стальной оправе и был одет в мешковатый полотняный костюм; мятые белые брюки гармошкой свисали на грубые черные башмаки. Говорил он торопливо, возбужденно и подчас слегка шепеляво. Пока Флори поднимался, доктор засеменил в дальний угол и начал хлопотливо вытаскивать из набитого льдом цинкового ящика бутылки всевозможного питья. Благодаря развешенным под карнизом корзинам с папоротником веранда напоминала сумрачный грот позади солнечного водопада. Кроме тростниковых, изготовлявшихся в тюрьме шезлонгов здесь еще стоял книжный шкаф, полный не слишком увлекательной литературы – главным образом, эссеистика в духе Карлейля, Эмерсона, Стивенсона. Доктор, большой любитель чтения, особенно ценил в книгах то, что именовалось у него «нравственным смыслом».

– Ну, доктор, – сказал Флори (хозяин тем временем усадил его в шезлонг, обеспечив комфортную близость пива и сигарет). – Ну, доктор, как там наша старушенция Империя? По-прежнему плоха?

– Ой, мистер Флори, все хуже и хуже! Опассьные осложнения, аxxа. Заражение крови, перитонит, паралич центральной нервной системы. Ой, боюсь, нужно звать специалистов!

Шутка насчет дряхлой пациентки Британской империи обыгрывалась уже второй год, но доктор не уставал ею наслаждаться.

– Эх, – вздохнул Флори, растягиваясь в шезлонге, – хорошо тут у вас. Сбегаю к вам, как пуританский староста в кабак со шлюхами. Хоть отдохнуть от них, – пренебрежительно мотнул он головой в сторону клуба, – милых моих приятелей, благородных белых паккa-сахибов[18 - Паккa – буквально «созревший», «сваренный», в переносном смысле – «правильный», «настоящий»; паккa-сахиб – благородный господин (англо-инд.).], рыцарей без страха и упрека, ну, да вы знаете! Просто счастье – глотнуть воздуха после всей этой вонищи.

– Друг мой, друг мой, пожалуйссьта, не надо! Это звучит нехорошо. Не надо так говорить о достойных английских джентльменах.

– Вам, доктор, не приходится часами слушать достойных джентльменов. Я все утро терпел Эллиса с его «негритосами», Вестфилда с его фиглярством, Макгрегора с его латинскими цитатами и грустью о старинной порке на конюшне. Но уж как дошло до туземного сержанта, старого честного служаки, сказавшего, что в Индии без британцев «не останется ни рупий, ни девственниц», – баста, не вынес! Пора старому служаке на покой, со времен первого юбилея[19 - Имеется в виду отмечавшийся в 1887 г. первый (50-летний, в отличие от второго, 75-летнего) юбилей правления королевы Виктории.] мелет одно и то же.

Как всегда при нападках Флори на членов клуба, толстяк доктор волновался, ерзая, переминаясь, нервно жестикулируя. Подыскивая нужное возражение, он всегда словно пытался его поймать, ухватить в воздухе щепоткой смуглых пальцев:

– Пожалуйссьта, мистер Флори! Прошу, не говорите так. Зачем всех называть пакка-сахибами? Народ героев, соль земли. Вы посмотрите на деяния строителей Империи, вспомните Роберта Клайва, Уоррена Гастингса, Джеймса Дальхузи, Джорджа Керзона – великие личности! Словами вашего бессмертного Шекспира, «то были люди в полном смысле слова, подобных им нам больше не видать»[20 - Слегка искаженная (в пьесе речь идет об одном человеке) цитата из трагедии Шекспира «Гамлет».].

– Так, а вам хочется еще подобных? Мне нет.

– И как прекрасен сам тип – английский джентльмен! Изумительная терпимость! Традиция единссьтва и сплоченности! Даже те, чьи высокомерные манеры не очень приятны (у некоторых англичан порой действительно заметен этот недостаток), намного достойнее нас, людей Востока. Стиль поведения грубоватый, но сердца золотые.

– Может, позолоченные? Прикидываться братьями в этой стране и вечно изображать из себя дружных английских парней, то бишь дружно выпивать, симпатизируя землякам-собутыльникам не больше скорпионов. Нашу сплоченность диктует политический расчет, а выпивка – главная смазка

механизма, без нее мы через неделю взбесились бы и перебили бы друг друга. Отличный сюжет для ваших утонченных моралистов – пьянка как фундамент Империи.

Доктор покачал головой.

– Не знаю, мистер Флори, откуда у вас такой ужассьный цинизм. Не подобает джентльмену ваших дарований, вашей души говорить, словно какой-нибудь дикий мятежник в «Сынах Бирмы»!

– Мятежник? – повторил Флори. – О нет, я вовсе не хочу, чтобы бирманцы нас выставили вон. Господи упаси! Мне тут, как прочим нашим, нужно деньги зарабатывать. Я против одного – этого вздора насчет бремени белого человека. Непременно строить из себя великодушных спасителей мира. Тоска! Даже чертовы дураки в клубе были бы сносной компанией, если бы все мы не жили в сплошном вранье.

– Но, дорогой друг, о каком вранье вы рассюждаете?

– Да о таком, что мы сюда явились не грабить, а якобы поднимать культуру бедных братьев. Вообще-то понятная, обычная людская фальшь, но отравляет она так, как вам не снилось. От постоянной своей подлости маешься, вечно ищешь оправданий. Половина наших здешних пакостей именно из-за этого. Нас еще можно было бы терпеть, честно признай мы себя заурядными ворами и продолжай мы воровать без лицемерия.

Доктор с довольным видом щелкнул пальцами.

– Слабоссь вашего аргумента, друг мой, – сказал он, сияя от собственной ироничности, – очевидная его слабоссь в том, что вы вовсе не вор.

– Ну-ну, дорогой доктор!

Флори выпрямился в шезлонге. Перемена позы была вызвана как невыносимым зудом на вспотевшей, изъеденной тропиками спине, так и пиком их несколько странных полемик. Дискуссий шиворот-навыворот, в которых англичанин всячески язвил Британию, а уроженец Индии с фанатичной преданностью

защищал. Никакие щелчки и уколы британцев не могли поколебать восторг доктора перед Англией. Он был готов пылко и совершенно искренне подтвердить, что лично принадлежит к худшему, угасающему племени. Его вера в британское правосудие не слабела даже тогда, когда он возвращался после проведенных в тюрьме под его наблюдением телесных наказаний или казней, – возвращался, напившись, с помертвевшим серым лицом. Бунтарские речи Флори потрясали и ужасали его, сопровождаясь, впрочем, некой сладкой дрожью, как у праведника при чтении богохульных заклинаний.

– Дорогой доктор, а в чем же здесь наши цели, кроме воровства? Ведь все столь очевидно. Чиновник держит бирманца за горло, пока английский бизнесмен обшаривает у того карманы. Вы полагаете, моя, допустим, фирма могла бы получить контракт на вывоз леса, не будь в стране британского правления? Или другие лесоторговые, нефтяные компании, владельцы шахт и плантаций? Как, не имея за спиной своих, Рисовый синдикат драл бы три шкуры с нищих местных крестьян? Империя – просто способ обеспечить торговую монополию английским, точнее, шотландско-иудейским, бандам.

– Друг мой, пожалуйссьта, мне больно это слушать. Вы говорите, что пришли ради коммерции? И очень хорошо. Разве сумели бы бирманцы самостоятельно наладить дело? Построить порты, пароходы, железные дороги? Они беспомощны без вас. Что бы произошло с бирманскими лесами, которые вы бережно охраняете? Лес был бы целиком продан японцам, то иссь вырублен, дотла уничтожен. Ведь ваши бизнесмены развивают все местные ресурсы, ваши администраторы, служа общественному долгу, учат цивилизации, поднимают наш уровень – образец гуманной самоотдачи.

– Чушь, доктор! Мы учим здешних мальчишек гонять в футбол и хлестать виски, но не особо велики сокровища. Заметьте, наши школы фабрикуют дешевых клерков, но действительно нужного ремесла мы не даем – страшимся конкуренции. Кое-какие местные отрасли даже исчезли. Где теперь, например, знаменитый индийский муслин? Лет восемьдесят назад сами индийцы строили, снаряжали большие морские суда, а сейчас и рыбачьи лодки делать разучились. В восемнадцатом веке жители Индии отливали пушки вполне европейского стандарта, а теперь – после полутора веков нашего пребывания здесь – вряд ли сыщется местный умелец, способный изготовить медную гильзу. Нет, из восточных народов шли вперед лишь независимые. Оставлю в стороне Японию, но вот Сиам…

Доктор энергично замахал руками. Пример с Сиамом ему не нравился, и он всегда прерывал спор на этом месте (течение диалогов не менялось, повторяясь почти дословно).

– Друг мой, друг мой, вы забываете о воссьточном характере! Как развивать нас, таких вялых и суеверных? По крайней мере, вы принесли сюда закон. Нерушимое правосудие, британский великий мир народов!

– Не мир, а мор народов, так честнее. И если мир, то для кого? Для судейских либо процентщиков. Конечно, в наших интересах не допускать тут распрей, но к чему сводится этот порядок? Больше банков, больше тюрем – вот и все.

– Ужассьное искажение! – вскричал доктор. – А разве тюрьмы не нужны и разве ничего другого, кроме тюрем? Представьте Бирму в дни Тхибава[21 - Король завоеванного англичанами в результате Третьей англо-бирманской войны государства Ава (Верхняя Бирма). В 1885 г. взятый в плен Тхибав был сослан в Индию.] – грязь, пытки, кромешное невежество. И теперь оглянитесь, просто посмотрите хотя бы с этой веранды – больница, а там школа, а чуть далее полицейский пост. Это все колоссальный рывок вперед!

– Не отрицаю, – сказал Флори, – модернизация идет полным ходом, спору нет. Только куда все-таки этот, столь вдохновляющий вас, доктор, «рывок вперед»? Мы действуем, и, разумеется, мы преуспеем в разрушении старой местной культуры. Но никого мы не цивилизуем, только слегка наводим лоск, предполагая повсеместно внедрить наши свинские граммофоны и фетровые шляпы. Думаю, лет через двести все это, – он кивнул вдаль, – исчезнет, не останется ни лесов, ни деревень, ни пагод. Вместо того через каждые полсотни ярдов будут стоять нарядные чистые домики, по всем долинам и холмам домик за домиком, и в каждом граммофон, и отовсюду один мотивчик. Леса сведут, размолотят на целлюлозу для выпуска многотиражных «Всемирных новостей» или распилят на дощечки для граммофонных ящиков. Хотя деревья умеют мстить, как утверждает старик в «Дикой утке». Вы ведь читали Ибсена?

– Аxx, к сожалению, пока не читал, мистер Флори. По словам вашего вдохновенного Бернарда Шоу, это ум выдаюссийся, великий. Предвкушаю, какое удовольствие подарят мне его произведения. Но, друг мой, почему-то от вашего взгляда ускользает, что даже мизерные приметы вашей цивилизации для нас большой прогресс. Граммофоны и «Всемирные новости» гораздо лучше ужасающей воссьточной лени. Самые рядовые британцы видятся мне некими…

некими… – подыскивая метафору, доктор, вероятно, припомнил ее из рассуждений Стивенсона, – факельщиками, ведущими по тропе культуры.

– Вот как? А я вижу очень проворных, гигиеничных и самодовольных вшей, – сказал Флори и с легким вздохом, ибо доктор был не силен насчет аллюзий, пояснил: – Паразитов, ползающих вокруг света и называющих прогрессом постройку тюрем.

– Друг мой, вы положительно сосредотоссились на тюрьмах! Обратите внимание на другие свершения ваших собратьев – британцы пролагают дороги и орошают пустыни, возводят школы и побеждают голод, самоотверженно воюют с чумой, холерой, оспой, венерическими болезнями…

– Которые сами и завезли, – вставил Флори.

– Нет, сэр! – возразил доктор, спеша воздать должное своей родине. – Оссибаетесь, венерические болезни в Бирму завезены из Индии. Индийцы заражают – британцы лечат. Вот ответ на весь ваш мятежный пессимизм.

– Ладно, доктор, нам не прийти к согласию. Вы в восхищении от плодов пресловутого прогресса, а для меня тут маловато прелести. Пожалуй, Бирма времен Тхибава больше пришлась бы мне по вкусу. И повторюсь: все наше здешнее культурное влияние не что иное, как уроки грабежа в крупных масштабах. Без прибыли мы живо всех бы бросили.

– Друг мой, признайтесь: вы так не думаете. Будь вы действительно убеждены в дурной политике британского правительства, вы не только оссюждали бы ее в нашей беседе, но и заявляли бы об этом во всеуслышание. Я лучше, чем вы сами, знаю ваш характер, мистер Флори.

– Увы, доктор. Куда уж мне, я вроде Велиала из «Потерянного рая» исповедую «постыдное бездействие»[22 - Упоминается поэма «Потерянный рай» Джона Мильтона (1608–1674).]. В этой стране либо живи пакка-сахибом, либо умри. За все пятнадцать лет в Бирме я только с вами разговаривал откровенно. Мои дерзкие речи у вас – предохранительный клапан. Пар выпускаю, этакая тайная черная месса, если вы меня понимаете.

Рядом раздался протяжный горестный вопль. На солнцепеке у веранды стоял индус Мату, трясущийся, иссохший, одетый лишь в какой-то грязный лоскуток. До крайности напоминавший саранчу, этот привратник караулил европейскую церковь. Служба давала ему восемнадцать рупий в месяц и означала проживание подле храма в лачуге из расплющенных жестянок, откуда он время от времени, завидев белого, выскакивал с низким поклоном и невнятным бормотанием о своем «шалованьи». Сейчас Мату жалобно глядел снизу, одной корявой бурой рукой потирая голый живот, другой рукой изображая запихивание пищи в рот. Мягкосердечный доктор, любимый объект всех местных попрошаек, достал из кармана и бросил через перила монетку в четыре аны[23 - Мелкая монета,

/

рупии.].

– Наглядное вырождение Воссьтока, – сказал доктор, кивнув в сторону скрючившегося, признательно заскулившего Мату. – Обратите внимание на хилые конечности: икры ног тоньше запястий у европейцев. Отметьте жалкую угодливость и совершенно невероятную в Европе за пределом клиник для умалишенных неразвитость. Однажды на вопрос о его возрасте старик ответил мне: «Вроде как десять лет, сахиб». Можно ли притворяться, мистер Флори, что вы не ощущаете себя существом более высокой породы?

– Худо горемыке, не озарил его свет прогресса. На, Мату, – Флори кинул еще одну монетку, – иди, выпей и вырождайся, как умеешь. Сроки всеобщего блаженства, судя по всему, откладываются.

– Ой, мистер Флори, иногда я подозреваю, что вы меня – как это говорится? – дурачите. Английское чувство юмора, эххе? У нас, людей Воссьтока, совсем нет ничего похожего.

– Счастливчики. Погибель наша этот английский юмор.

Бормоча что-то благодарственное, Мату поковылял со двора. Флори заложил руки за голову и потянулся.

– Надо идти, пока чертово солнце не поднялось слишком высоко. Чуют мои кости, жара в этом году будет адская. Да, доктор, мы все спорили, я даже не спросил вас о новостях. Я ведь только вчера из джунглей и через пару дней обратно. Какие происшествия в Кьяктаде? Скандалы?

Доктор сразу перестал улыбаться. Он снял очки, без которых сделался похожим на черного спаниеля с влажными карими глазами, и, глядя вдаль, заговорил гораздо тише, без прежней решительности.

– Скажу вам, друг мой, затеваются самые неприятные дела. Вы, наверное, будете смеяться, признаков пока никаких, но я в беде. Вернее, мне грозят большие беды. Уши европейцев ничего не услышат, но там, – он махнул рукой в направлении базара, – плетутся ужассьные козни, поверьте мне.

– Может, все-таки поясните?

– Аxx, строится большая интрига, чтобы меня оклеветать и поломать мою карьеру. Вам, англичанину, такие вещи непонятны, – я навлек ненависть У По Кина, местного судьи. Чудовиссьно опасный враг, несущий тысячи несчастий.

– У По Кин? Кто такой?

– Огромный, очень толстый, очень зубастый человек, его дом недалеко отсюда.

– А, тот жирный мерзавец? Знаю.

– Нет-нет! – с горячностью воскликнул доктор. – Не знаете, мой друг! Английский джентльмен не может знать подобную натуру! У По Кин больше чем мерзавец, он… Трудно выразить, слова меня подводят. Это крокодил в облике человека – лютый и кровожадный крокодил. Все его злодеяния! Его разбои, зверства! Он портил девушек, насилуя их на глазах матерей. Английскому джентльмену не представить такую низоссь. И вот этот злодей поклялся меня уничтожить.

– Наслышан я о нем. Видимо, превосходный экземпляр местного законника. Кто-то из бирманцев мне говорил, что, занимаясь во время войны рекрутством, этот распутник набрал целый батальон из собственных внебрачных сыновей. Правда?

– Вряд ли, он не настолько стар, но подлоссь его несомненна. А теперь он поставил целью сгубить меня, потому что я слишком много знаю и вообще ненавистен ему, как любая честная личность. Действовать будет исслюбленным приемом всех негодяев – станет распространять обо мне самую скверную, самую жуткую клевету. Он уже начал.

– Кто ж поверит жирному борову? Какой-то мелкой сошке в сравнении с вашим положением.

– Ах, мистер Флори, вам не понять востоссьного коварства. У По Кин сокрушал чиновников и покрупнее. Найдет способ вызвать доверие. Именно поэтому… Ахх, непроссьтая, непроссьтая ситуация…

Доктор отвернулся и начал ходить по веранде, протирая очки носовым платком. Он явно чего-то недоговаривал, стеснялся. Видя его таким встревоженным, Флори открыл было рот предложить свою помощь, но промолчал, ибо хорошо знал бесполезность вмешательства в конфликты восточных людей. Белому никогда не добраться тут до сути, всегда останется нечто неясное, козни под кознями, интриги внутри интриг. Кроме того, одна из главных заповедей пакка-сахибов – держаться в стороне от «туземных склок». Он неуверенно проговорил:

– А что за ситуация?

– Дело в том, если бы… Ахх, друг мой, я боюсь снова вызвать ваш смех. Если бы только я мог стать членом вашего Европейского клуба! О! Как бы все для меня изменилоссь!

– Клуб? Зачем? Чем это поможет?

– Друг мой, в подобных обстоятельствах важнее всего наш престиж! У По Кин никогда не нападет открыто, он пустит сплетни, слухи, а поверят или нет, всецело будет зависеть от степени моей близости европейцам. Так уж сложилоссь в Индии. Когда нас уважают, мы поднимаемся, не уважают – падаем. Рукопожатие и дружеский кивок иногда значат больше сотен официальных наград. И вы не представляете, как ценно состоять в клубе, считаться как бы европейцем – недосягаемым. Личноссь члена клуба священна.

Собравшийся уходить Флори стоял и смотрел на дорогу. Его всегда переполняло стыдом, если в беседах с доктором мелькал болезненный вопрос о цвете кожи. Хотя такого рода вещи в Индии кажутся явлением нормальным, естественным, как воздух, неприятно ощущать социальную униженность близкого друга.

– Вас могут выбрать уже на следующем собрании, – сказал Флори. – Не поручусь, что выберут, однако не исключено.

– Надеюсь, мистер Флори, мои слова не прозвучали просьбой мне посодействовать? Ради бога! Возможности ваши ограничены, я знаю, я всего лишь отметил, что прием в клуб – надежное средство защиты…

Флори нахлобучил панаму и легонько похлопал стеком уснувшую под шезлонгом Фло. Ему было очень не по себе. Он понимал – хвати у него духа на пару схваток с Эллисом, доктора Верасвами наверняка примут. И доктор его друг, вернейший, едва ли не единственный. Сколько часов они провели в разговорах на докторской веранде, доктор бывал у него и очень хотел представить Флори своей супруге (благочестивая индуска с ужасом отказалась). Они вместе ездили на охоту – обвешанный боевым снаряжением доктор, пыхтя, карабкался по скользким, засыпанным листвой бамбука склонам и палил в пустоту. Хотя бы правила приличия требуют поддержать друга. Но доктор прямо никогда не попросит, а сам он не способен отстаивать его в неизбежных мерзких дрязгах. Нет, не способен! Да и стоит ли пытаться?

– По правде говоря, – произнес Флори, – вопрос сегодня поднимался, и скотина Эллис, естественно, побрызгал слюной насчет «черномазых», когда Макгрегор предложил нам принять кого-нибудь из азиатов. Полагаю, пришло распоряжение.

– Да, я слышал. Подобные вещи тут же становятся иссьвестны. Это и навело меня на мысль.

– Решающим, видимо, будет июньское собрание. Я, разумеется, проголосую «за», но сделать больше, к сожалению, не сумею, попросту не в моих силах. По-моему, тут все зависит от Макгрегора. Свара, разумеется, будет неописуемая. Но вполне вероятно, вас выберут, хотя натужно, из-под палки. Они совсем свихнулись на «чистоте» их клуба.

– Конессно, конессно, друг мой! Прошу вас, не беспокойтесь. Еще вам не хватало из-за меня испортить отношения с братьями по крови. Умоляю вас, подальше от неприятностей! Сам факт вашей дружбы со мной невероятно мне помогает. Престиж, он как термометр, и с каждым вашим висситом ко мне столбик ртути подрастает еще на полградуса.

– Что ж, будем стараться предельно разогреть его. Боюсь, кроме этого немногим смогу помочь.

– Но это много, поисстине много, друг мой! И вот еще, только не смейтесь, вам ведь тоже надо остерегаться. Рядом крокодил! Узнает, что вы за меня, – мгновенно нацелится и на вас.

– Ясно, доктор. Буду остерегаться чудища. Хотя чем, собственно, ваш крокодил способен мне навредить?

– В любом случае он попытается. Я знаю, его тактикой будет убрать моих друзей, и он поссьмеет оклеветать даже вас.

– Меня? Ну, дудки! Не дотянется плебей до римского патриция. Я ж как-никак англичанин!

– Но все же берегитесь, друг мой. Не ссьтоит его недооценивать. Крокодилы всегда… – доктор пощелкал пальцами, образные выражения у него частенько путались, – бьют по больным местам!

– О-о, доктор, неужели крокодилы столь чутко различают наши слабости?

Оба рассмеялись. Теплота отношений позволяла им вместе посмеяться над забавной английской фразой доктора. Возможно, в глубине души доктор сейчас был несколько разочарован тем, что Флори не ринулся спасать его, однако он скорее бы умер, нежели обнаружил это. А Флори более всего мечтал оставить крайне смущающий сюжет.

– Ладно, действительно пора идти. Счастливо оставаться, доктор, на случай, если не увижу вас до отъезда. Надеюсь, выборы пройдут нормально. Макгрегор – неплохой старый пень. Осмелюсь предположить, он дожмет их с вашим

приемом.

– Будем надеяться, будем надеяться. Чтобы я ссьмог открыто бросить вызов всем у по кинам! До свидания, друг мой, до сськорого свидания!

Флори поправил панаму и пошел через залитый солнцем плац домой, к завтраку, для которого утро, проведенное в табачном дыму за выпивкой и тяжким разговором, не оставило никакого аппетита.

## 4

Флори спал, раскинувшись в одних легких сатиновых штанах на своей влажной от пота постели. Очередной абсолютно свободный день. После каждых трех недель на лесных стоянках несколько дней он проводил в Кьяктаде, где главным образом бездельничал, поскольку конторских забот имелось очень немного.

Спальня была довольно просторной, с оштукатуренными белыми стенами, сквозными входными проемами и незашитой решеткой потолочных балок, пристанищем хлопотливых воробьев. Скудная обстановка включала массивную кровать с прикрепленной к балдахину москитной сеткой, плетеный стул, плетеный стол, зеркальце и грубо сколоченные полки, вмещавшие несколько сотен книг, переплеты которых в тропиках покрылись сизым налетом плесени. Распластавшись на стене, тукту (ящерка) застыла, будто геральдический дракон. Свет за верандой густо лился потоком белого сверкающего масла. Монотонные стоны голубей в чаще бамбука как-то очень созвучно сливались со знойной духотой, навевая сонную дрему не колыбельного напева, а скорее паров хлороформа.

Ярдов за двести, возле бунгало мистера Макгрегора, исполнявший обязанности живых часов привратник четыре раза ударил по куску рельса. Разбуженный этим сигналом Ко Сла, слуга Флори, направился в сарайчик, раздул угли и вскипятил воду, после чего, обрядившись в розовый гаунбаун с муслиновым эйн-джи, понес чайный поднос хозяину.

Ко Сла (полное его имя было Маун Сан Хла), типичный местный крестьянин, низкорослый и коренастый, отличался очень темной кожей, гримасой постоянной озабоченности и довольно редким у безбородых бирманцев украшением – хвостиками усов, свисавших по углам рта. У Флори он служил со дня приезда того в Бирму. Они были ровесниками, разница в возрасте меньше месяца, и вместе, как мальчишки, бегали пострелять или поплавать, вдвоем сидели в мачанах (засадах на деревьях), поджидая ни разу не появившихся тигров, дружно делили тяготы долгих пеших переходов и лесных лагерей. Помимо этого Ко Сла подыскивал Флори подружек, занимал для него деньги у китайских ростовщиков, укладывал его, пьяного, в постель, выхаживал во время приступов лихорадки. В глазах Ко Сла неженатый Флори оставался юнцом, тогда как сам он успел жениться, народить пятерых детей и – добровольно удвоив муки супружества – завести вторую жену. Как полагается слуге холостяка, Ко Сла был ленив и неряшлив, зато предан безгранично. Он никогда бы никому другому не позволил прислуживать Флори за столом, или нести его ружье, или придерживать ему оседланного пони, а если дорогу преграждал ручей, непременно перетаскивал господина на собственной спине. К Флори он относился с жалостью: и оттого, что считал его наивным, беспомощным ребенком, и особенно из-за зловещего, как ему думалось, родимого пятна.

Осторожно опустив поднос на низкий столик, Ко Сла пощекотал спящему пятку (единственный безопасный способ будить хозяина). Чертыхнувшись, Флори перевернулся и зарылся лицом в подушку.

– Четыре часа, наисвятейший. Я приносить две чашки, тут женщина.

Женщиной у Ко Сла именовалась любовница Флори Ма Хла Мэй. Всегда лишь «женщиной» не по причине неодобрения любовницы как таковой, но ввиду ревности к ее влиянию в доме.

– Наисвятейший идти вечером играть в тиннис? – спросил Ко Сла.

– Нет, слишком жарко, – ответил Флори, будто находился в Брайтоне. – Есть не хочу, убери эту дрянь. Дай мне виски.

Не умеющий правильно говорить по-английски, Ко Сла, однако, понимал язык прекрасно. Бутылку он принес, а вместе с ней ракетку, которую демонстративно прислонил к стене напротив кровати. Теннис в его сознании являлся священным

ритуалом белых, и уклонение хозяина от обряда ему не нравилось.

Флори с отвращением отодвинул бутерброд, но, подлив виски в чай, выпил чашку и почувствовал себя лучше. После сна, длившегося от полудня, все тело ныло, во рту отдавало свинцом и копотью, будто от горелой газеты. Трапезы давно перестали приносить удовольствие. Еда в Бирме отвратительна – испеченный на пальмовой закваске хлеб вкуса пресной резиновой лепешки, масло лишь из консервных банок, того же сорта порошковое молоко, из которого получается водянистая серая жижа.

Едва Ко Сла вышел, послышался высокий гортанный женский голос:

– Мой господин не спит?

– Входи, – довольно раздраженно буркнул Флори.

Вошла, сняв у порога красные лакированные сандалии, Ма Хла Мэй. В виде особой привилегии ей дозволялось заходить на чаепития, но в иных случаях присутствие за столом было столь же запретно, как ношение обуви в присутствии господина.

Лет чуть более двадцати и ростом метра полтора, Ма Хла Мэй была в светло-голубом, узорно вышитом лонджи из китайского сатина и белоснежном эйнджи. На груди висели цепочки золотых медальонов; туго закрученный, точно эбеновый, валик блестящих черных волос был украшен цветками жасмина. Со своей хрупкой, словно сделанной искусным резчиком фигуркой, медным овальным личиком и узкими глазами, она казалась диковинной, но на редкость красивой куклой. Комнату наполнил аромат сандалового дерева и кокосового масла.

Ма Хла Мэй села на край постели, крепко прильнула к Флори и, как принято у бирманцев, потерлась плосковатым носом о его щеку.

– Зачем мой господин утром не звал меня?

– Спал. Слишком жарко для таких штучек.

– Вам лучше спать без Ма Хла Мэй? Ах, это значит – я некрасивая? Я некрасивая, мой господин?

– Уйди, – отпихивая ее, сказал Флори. – Сейчас я тебя не хочу.

– Тогда пусть господин хотя бы потрогает меня губами, как у белых![24 - В бирманском обиходе не существует ни слова, ни понятия «поцелуй».]

– На, получи и оставь меня. Принеси-ка сигарет.

– Почему господин больше не хочет заниматься со мной любовью? Ах, два года назад он был другой! Любил меня, дарил мне золото, привозил мне красивый шелк из Мандалая. А сейчас вот, – она вытянула тоненькую ручку в муслиновом рукаве, – ничего нет, я все мои тридцать браслетов отдала в заклад. Как теперь показаться на базаре без браслетов и опять в том же лонджи, что уже много раз все видели? Мне стыдно перед другими женщинами.

– Я виноват, что ты свои браслеты заложила?

– Два года назад господин бы их выкупил! Ах, он больше совсем не любит Ма Хла Мэй!

Она обняла Флори и, наученная им европейской манере, поцеловала его. Пахнуло смесью сандалового дерева, чеснока, кокосового масла и жасмина. Запахом, от которого у Флори покалывало зубы. Отстранившись, придерживая ее голову на подушке, он стал разглядывать странное юное лицо с высокими скулами, растянутыми веками и маленьким, изящно вычерченным ртом. Зубки у нее были, как у котенка. Пару лет назад он, сторговавшись с родителями девушки, купил ее за триста рупий. Флори погладил смуглую шею, похожую на стройный гладкий стебель.

– Ты липнешь ко мне, потому что я белый и богатый?

– Нет, я люблю, я очень-очень люблю господина. Зачем так говорить? Разве я не была всегда верная?

– У тебя есть любовник бирманец.

– Ух! – Ма Хла Мэй изобразила гадливую дрожь. – Терпеть, как трогают ужасные темные руки? Если бирманец меня тронет, я умру.

– Лгунья!

Он положил ладонь ей на грудь. Вообще-то Ма Хла Мэй это коробило, так как напоминало о наличии грудей, существование которых для бирманок несовместимо с идеалом красоты. Однако она лежала, предоставив Флори свободу действий, совершенно пассивная, но довольная, с легкой улыбкой на губах, – сытая кошка, позволяющая себя гладить. Ласки Флори не значили ничего (истинным ее возлюбленным был Ба Пи, младший брат Ко Сла), но пренебрежение господина уязвляло. Подчас она даже подмешивала ему в пищу приворотные зелья. Нравилось ей вести жизнь праздной наложницы. Нравилось навещать свою деревню, похваляясь нарядами и положением бо-кэдоу, жены белого мужчины, ибо она сумела убедить всех, начиная с себя, что действительно являлась супругой Флори.

Покончив любовный труд, обессиленный Флори молча отвернулся, прижал ладонь к родимому пятну. Чувство стыда сразу напоминало об отметине. Противно было дышать во влажную подушку, пропахшую кокосовым маслом. Все тот же душный зной, все те же заунывные голубиные стоны. Голая Ма Хла Мэй, опершись на локоть, улыбаясь, обмахивала Флори плетеным веером.

Затем она встала, оделась, закурила сигарету и, вернувшись, стала поглаживать плечи Флори. Белизна кожи завораживала ее странным видом и тайным значением власти. Флори дернулся, сейчас подруга его бесила, хотелось лишь быстрей ее спровадить.

– Уходи, – сказал он.

Ма Хла Мэй попыталась кокетливо вложить свою сигарету ему в рот.

– Зачем господин всегда сердитый, когда сделал со мной любовь?

– Уйди, – повторил он.

Ма Хла Мэй продолжала гладить его плечи. Мудрости оставлять Флори в определенные моменты она не набралась, считая интимную близость актом некоего женского колдовства, раз от разу все больше превращающего мужчин в слабоумных, покорных рабов. С каждым объятием, верилось ей, Флори слабеет, а чары набирают силу. Она принялась теребить, обнимать его, упрекая в холодности, стараясь вновь разжечь, пытаясь поцеловать спрятанное в подушку лицо.

– Иди-иди! – с досадой бросил Флори. – Вон мои шорты, там в кармане деньги, возьми пять рупий и иди.

Спрятав за пазухой пять рупий, Ма Хла Мэй все же не ушла. Склонясь над Флори, продолжала его тормошить, пока он, вконец разозлившись, не вскочил.

– Иди отсюда! Сказано, уйди! Осточертела!

– Хорошо разве говорить эти слова? Как будто с проституткой.

– Такая ты и есть. Пошла вон! – крикнул он, вытолкав ее и швырнув вслед сандалии. Их стычки часто завершались подобным образом.

Флори зевнул, раздумывая. Пойти, что ли, все же на теннис? Но тогда надо бриться, а для этаких усилий пришлось бы опрокинуть еще пару стаканчиков. Он сделал было вялый шаг к зеркалу, дабы обследовать щетину, но под угрозой увидеть свою кошмарную измятую физиономию остановился. Несколько секунд, чувствуя слабость в каждой мышце, он созерцал ползущую под потолком, крадущуюся к мотыльку тукту. Сгоревшая сигарета Ма Хла Мэй едко чадила. Флори достал с полки книгу, открыл и, содрогнувшись, кинул в угол. Сил не было даже читать. О боже, боже, куда деться, как убить проклятый вечер?

Шлепая лапами и махая хвостом, подбежала зовущая на прогулку Фло. Флори хмуро прошел в смежную маленькую ванную с каменным полом, надел шорты, рубашку. До заката требовалось непременно размять, активно разогреть все мускулы. В Индии, вообще говоря, не пропотеть насквозь хотя бы раз за день – беда: чувствуешь себя грязнее тысячи грешников. С приближением вечерних сумерек настигает такая безумная, безысходная тоска, что ничем – ни чтением, ни молитвой, ни болтовней, ни выпивкой – не изгнать этой гадости; вытянуть ее может только пот.

Из дома Флори пошел к джунглям. Сначала через заросли низкого кустарника с редкими стволами диких манго, усыпанных смолистыми плодами не крупнее сливы, затем лесом. Безжизненные в это время года джунгли обступали дорогу чащей пыльных деревьев с тусклой, пожухшей листвой. Не видно было никаких птиц, кроме неуклюже прыгавших по кустам бурых растрепанных созданий, похожих на обнищавших и опустившихся дроздов. Еще какая-то невидимая птица издалека, словно хохочущее эхо, одиноко выкрикивала «ах-ха-ха! ах-ха-ха!». От палых листьев шел ядовитый хмельной запах. Было по-прежнему жарко, хотя солнце утратило дневную яркость и косые лучи пожелтели.

Мили через две дорога вывела к речному броду. Вблизи воды лес стал выше и зеленее. У края берега чернел огромный древесный остов мертвого пинкадо[25 - Местное название широко распространенного в Бирме крупного (высотой до 35 м и более метра в диаметре) дерева, которое в Европе чаще именуют «железным деревом».], сплошь оплетенный гирляндами орхидей, прибрежные кусты лимонника источали резкий цитрусовый аромат. Быстро шагая в намокшей рубашке, с лицом, залитым едким потом, Флори выпаривал из себя хандру. Добавила радости и неизменно ласкавшая глаз прозрачная вода реки – редчайшее явление на здешних илистых землях. Ступая по камням, Флори перешел поток, прошлепавшая вслед за ним Фло кинулась вперед знакомой тропой, пробитой в зарослях ходившим к водопою скотом и крайне редко посещавшейся людьми. Оканчивалась тропа расположенной ярдов на пятьдесят выше брода мелкой заводью. Здесь рос мощнейший тутовый баньян, великан со стволом толщиной шесть футов и целой рощей воздушных корней, свисавших будто тросы исполинского корабля. Из-под основания дерева бил прозрачный зеленоватый ключ, пышная крона накрывала заводь сплошным лиственным куполом.

Скинув одежду, Флори вошел в воду, которая была чуть прохладнее воздуха и доходила ему, присевшему, до шеи. Стайки серебристых махси, рыбешек не крупнее сардинок, окружили его, плотоядно тычась в тело. Фло тоже бултыхнулась и бесшумно, как выдра, поплыла, перебирая перепончатыми лапами. Место ей было хорошо известно, они с хозяином нередко сюда наведывались. Гуща ветвей вверху кипела и клокотала: тучи зеленых голубей клевали тутовые ягоды. Флори пристально всматривался в зеленевший свод, пытаясь разглядеть птиц, но они совершенно сливались с листьями, и наполненное ими трепещущее дерево казалось обиталищем птичьих призраков. Верная своей природе Фло рычала на кого-то, затаившегося под корнями. Один из голубей, спорхнув вниз, сел на ветку у самой воды – хрупкий, гораздо меньше

обычного ручного голубя, нежная, как бархат, нефритовая спинка, шейка и грудка в радужных переливах, лапки из розового воска.

Покачиваясь, голубок раздувал перышки на груди и приглаживал их коралловым клювом. Сердце сдавило болью – одиночество, вечное одиночество! Часто в лесном уединении Флори встречалось что-то – птица, дерево, цветок, – что могло бы увидеться несказанно прекрасным, если бы рядом была близкая душа. Красота бессмысленна, если не с кем ею поделиться. Ах, будь у него настоящий, чуткий друг! Ну хоть один-единственный! Голубок, вдруг заметив человека, тут же взвился, умчался, треща крыльями. Нечасто вблизи увидишь зеленых голубей. Эти птички летают высоко, живут на верхушках деревьев, к земле спускаются разве что глотнуть воды. Подстреленные, но не убитые наповал, они, вцепившись в ветки, держатся до последнего вздоха и падают, когда нетерпеливых охотников давно уж нет.

Флори выбрался из воды, оделся и обратно перешел брод. Теперь возвращаться он решил не по дороге, а в обход, лесной тропинкой, которая вела к деревне на краю джунглей, невдалеке от его дома. Фло рыскала в кустах, повизгивая, если острые колючки цеплялись за мохнатые длинные уши; однажды ей повезло поднять тут зайца. Флори шел медленно, дымок из его трубки вился ровной прямой струйкой. Блаженство после прогулки и родниковой заводи. Стало прохладнее, лишь под самыми густыми кронами еще обдавало затаившейся жарой, свет перестал резать глаза. Где-то поблизости мирно поскрипывали колеса деревенской телеги.

Вскоре путники заблудились в лабиринте сухих деревьев, потом путь наглухо перекрыла гуща каких-то похожих на гигантские комнатные аспидистры жутких растений, каждый лист которых оканчивался тонкой плетью с шипами. В кустах уже, возвещая сумрак, загорелись изумрудные искры светлячков. Скрип колес раздавался совсем рядом.

– Эй, сэя ги, сэя ги! – закричал Флори, придерживая за ошейник норовившую убежать Фло.

– Ба ли-ди? – откликнулся голос бирманца. Глухой стук воловьих копыт замер.

– Прошу вас, пожалуйте сюда, добрейший и мудрейший! Мы заблудились, помогите, о великий строитель пагод!

Засвистел, рубя лианы, острый крестьянский дах, и сквозь джунгли пробился коренастый одноглазый бирманец, который вывел к дороге. Флори уселся на тряскую, узкую и плоскую, телегу, крестьянин взялся за вожжи, крикнул, погоняя волов, тыча им в основания хвостов короткой палкой, и скрипучая повозка двинулась. Бирманцы редко смазывают жиром оси колес, а если спросишь почему, ссылаются на бедность, однако главная причина в их суеверии: они убеждены, что скрипом отгоняют злых духов.

Проехали мимо деревянной выбеленной пагоды не выше человеческого роста, вполовину скрытой ползучей зеленью. Тропинка запетляла по деревне из пары десятков крытых соломой лачуг; чуть в стороне над колодцем вздымалось несколько бесплодных финиковых пальм. Султаны пальмовых верхушек торчали пучками перьев на боевых стрелах. Хохочущая желтокожая толстуха в туго затянутом под мышками лонджи гонялась с бамбуковой палкой за бегавшей вокруг хижины и так же весело скалившейся собакой. Несмотря на название Ньянглебин («Четыре баньяна») никаких баньянов, вырубленных, видимо, давным-давно, рядом не наблюдалось. Здешние жители обрабатывали узкую полоску земли перед джунглями и, кроме того, занимались изготовлением телег, сбывавшихся в Кьяктаде. Повсюду у домов лежали огромные, метра полтора в диаметре, колеса с грубо, но прочно вырезанными спицами.

Наградив возницу монеткой в четыре аны, Флори слез. Тут же, сердито фырча, повыскакивали из-под хижин пестрые дворняжки. Стайка голых ребятишек с выпученными животами и узелками стянутых на макушке волос обнаружила явное любопытство к белому человеку, хотя держалась все-таки поодаль. Вышел из дома пожилой, усохший, как осенний бурый лист, деревенский староста. Возникла некоторая напряженность. Флори уселся на крыльце и вновь раскурил трубку; его мучила жажда.

– Есть у тебя, тхагай-мин, – спросил он, – вода, которую можно пить?

Староста задумался, поскреб лодыжку левой ноги корявыми пальцами правой.

– Можешь ее пить – пить можно, не можешь – нельзя пить, тхэкин.

– О-о! Мудро.

Толстуха, что гонялась за собакой, принесла закопченный чайник и чашку без ручки, угостив Флори отдававшим дымком бледным зеленым чаем.

– Пора идти, тхагай-мин, спасибо за чай.

– Иди с богом, тхэкин.

Когда Флори вышел на плац, совсем стемнело. Дожидавшийся Ко Сла уже надел свежий эйнджи, согрел две канистры воды для ванны, зажег лампы и разложил на кровати костюм с чистой рубашкой – намек на то, что Флори следует побриться, переодеться и после ужина идти в клуб. Порой Флори весь вечер оставался в сатиновых штанах, валялся и читал; эту привычку Ко Сла решительно не одобрял. Вообще, любое отступление господина от обычаев белых вызывало его крайнее неудовольствие. Тот факт, что дома хозяин сидел трезвым, а из клуба являлся вдрызг пьяным, ничего не менял, ибо пьянство входило в кодекс поведения белого человека.

– Женщина уходить на базар, – радостно сообщил Ко Сла, как всегда довольный отсутствием Ма Хла Мэй. – Ба Пи брал фонарь ее встречать.

– Ладно, – сказал Флори. («Пять рупий побежала тратить, все на игру просадит», – подумал он.)

– Ванна готова, наисвятейший.

– Погоди, нужно собаку привести в порядок. Неси гребень.

Сев на корточки, они вдвоем расчесали шелковую меховую шкурку Фло, вычистили из-под когтей комки шерсти и, главное, тщательно вынули клещей. Обязательная ежевечерняя процедура. За день Фло успевала подцепить массу этих мелких, с булавочную головку, омерзительных серых тварей, которые, впившись в тело, разбухали до размера горошины. Каждого извлеченного клеща Ко Сла клал на пол и усердно давил босой пяткой.

Затем Флори побрился, принял ванну, оделся и сел ужинать. Ко Сла встал за стулом, обмахивая господина веером. Середину стола он украсил вазой с букетом алых гибискусов. Кушанья отличалась претенциозностью и скверным

вкусом. «Ученые» повара, потомки слуг, которых долго школили в Индии французы, способны из любых продуктов приготовить любое блюдо, за исключением съедобного. После ужина Флори отправился в клуб сыграть партию в бридж и трижды хорошенько хлебнуть, соблюдая регламент большинства своих вечеров в Кьяктаде.

## 5

Несмотря на изрядную дозу принятого спиртного, выспаться Флори не удалось. Обычно вой уличных псов начинался к полуночи, но тут целый день дрыхнувшие на жаре дворняги решили пораньше завести свою лунную серенаду. Одна из собак, невзлюбив дом Флори, регулярно являлась выть именно сюда. Усаживалась недалеко от ворот и каждые полминуты, как по секундомеру, издавала жуткий раздирающий вопль, причем это могло продолжаться и два, и три часа, до первых петушиных криков.

Флори ворочался, голова трещала. Какой-то болван изрек, что питать ненависть к животным невозможно, – стоило бы ему провести несколько ночей в Индии, вдоволь насладиться собачим воем. В конце концов мучения Флори достигли предела. Он встал, выволок из-под кровати походный жестяной сундук, достал винтовку с парой патронов и вышел на веранду. При луне ясно различались и собака, и ружейная мушка. Прислонясь к столбу, он тщательно навел прицел и вздрогнул от грубого резкого толчка: у винтовки была слишком сильная отдача. Мимо. Дрожь в занывшем плече не унималась. Флори опустил винтовку. Хладнокровно стрелять он не умел.

Теперь какой сон! Прихватив пиджак и сигареты, Флори начал прохаживаться по садовой дорожке между призрачно темневшими цветами. Было тепло, жужжащие москиты неотступно и плотоядно вились рядом. По плацу носились друг за другом собачьи тени. Слева зловеще белели плиты английских надгробий, чуть дальше бугрились следы старинных китайских могил. Склон славился привидениями, которые ночью не раз пугали возвращавшихся из клуба слуг.

«Шавка, поджавшая хвост шавка, – беспощадно (и, надо сказать, привычно) клеймил себя Флори. – Подлая, ленивая, блудливая, пьяная, вечно ноющая

шавка. Это тупое, презираемое тобой дубье лучше тебя, любой из них получше. Они хоть просто идиоты. Не слабаки, не падаль лживая, а ты…»

Причина для самобичевания была. Вечером в клубе произошло нечто паршивое. Инцидент не из ряда вон, но пакость образцовая.

Когда Флори явился в клуб, там находились только Эллис и Максвелл. Чета Лакерстинов, позаимствовав у мистера Макгрегора автомобиль, отправилась на станцию встречать племянницу. Сели играть в «бридж на троих», общались довольно дружелюбно, когда вбежал на себя не похожий, красный от гнева Вестфилд, сжимавший в руке газетенку «Сыны Бирмы». Наглые враки о Макгрегоре дьявольски разозлили Вестфилда и Эллиса. Они настолько разъярились, что Флори пришлось здорово напрячься, дабы изобразить приличную степень негодования. Эллис минут пять без перерыва изрыгал проклятия, после чего причудливым умственным виражом вывел: статья на совести доктора Верасвами. И тут же придумал контрудар: они поместят на доске общую декларацию с решительным отказом от предложения Макгрегора. Немедленно своим мелким четким почерком Эллис написал текст: «Ввиду оскорбительной клеветы в адрес представителя комиссара, мы, нижеподписавшиеся, считаем данный момент абсолютно неподходящим для обсуждения вопроса о приеме в Европейский клуб черномазых…» И т. д.

В угоду Вестфилду, возразившему против «черномазых», к этому чуть заметно перечеркнутому термину сверху добавилось «аборигенов». Документ подписали Р. Вестфилд, П. Эллис, С. Максвелл и Д. Флори.

В восторге от своей идеи, Эллис даже подобрел. Само заявление, конечно, лишь бумажка, зато новость мгновенно разнесется и уже завтра дойдет до Верасвами. Весь город будет знать, что для белых индийский доктор просто цветная шваль. Эллис ликовал. То и дело поглядывал на доску, восклицая: «Будет о чем подумать докторишке, а? Узнает жирный педик, какая он важная птица! Как еще их породу вразумишь?»

Итак, Флори подписался под коллективным пинком другу. Сподличал по той самой причине, по которой подличал многократно, – не хватило искорки мужества. Он мог, конечно, возразить, но протест означал бы полный разлад с Вестфилдом и Эллисом. Ох, только не разлад! Вражда, издевки!.. При одной мысли насчет этого пронзила дрожь, пятно на щеке начало пульсировать и горло сжало какой-то виноватой робостью. Ох, только не это! Куда легче заочно

предать друга, даже зная, что тот узнает о предательстве.

Флори уже пятнадцать лет жил в Бирме, а Бирма научит не перечить общественному мнению. Но беда его родилась гораздо раньше, еще в материнском чреве, где случай наградил его сизой меткой во всю щеку. Последствия помнились хорошо. Вот он впервые в школе, ему девять лет, ребята на него таращатся и через пару дней кричат: «Эй ты, Пятнистый!» Кличка держалась до поры, когда школьный поэт (ныне известный критик, Флори встречал в газетах его довольно дельные статьи) сочинил:

Раскрасил морду Флори странно —

Точь-в-точь как жопу обезьянью.

Флори незамедлительно переименовали в Обезьянью Жопу. И потом. У элиты старшеклассников по ночам практиковался «суд инквизиции»: любимой пыткой было держать кого-нибудь очень болезненным захватом (назывался он «Уганда-экстра»), в то время как палач хлестал жертву нанизанными на бечевку ракушками. Но Флори умудрился искупить грех Обезьяньей Жопы. Он умел притворяться и играть в футбол – первейшие для школьника таланты. К последнему семестру он уже оказался среди избранных, державших юного поэта приемом «Уганда-экстра», пока капитан футболистов снятой с ноги шиповкой отделывал слюнтяя, пойманного за сочинением сонета. Это был важный этап.

Затем его воспитывали в третьесортном пансионе, убогом и насквозь фальшивом. Копируя стиль дорогих закрытых заведений, там предлагали все: и аристократичный церковный тон, и крикет, и латынь, даже свой школьный гимн «Жизнь – это матч», где Бог уподоблялся честному главному рефери. Не имелось только важнейшей ценности дорогих школ – подлинной культуры. Мальчики достигали поразительных успехов в невежестве. Никакими порками не удавалось впихнуть в них отчаянно нудный учебный хлам, а нищие, никудышные учителя не годились на роль мудрых и вдохновляющих наставников. Образование Флори завершил полуграмотным дикарем. В нем были, и он это знал, определенные способности, однако же не те, что могли нравиться товарищам, и, разумеется, он подавил их. Готовясь к взрослой жизни, паренек по кличке Обезьянья Жопа отлично выучил преподанный урок.

В Бирме он очутился, когда ему еще не исполнилось двадцати. Родители, люди славные, горячо любившие сына, нашли ему место в лесоторговой фирме,

решившись выплатить за него колоссальную по их средствам страховку (он затем отблагодарил родных, изредка присылая открытки с небрежными каракулями). Первые полгода Флори болтался в Рангуне, где якобы изучал коммерцию. Поселившись вместе с четырьмя такими же юнцами, ударился в разгул – и сколь невзрачный! Дружно хлестали виски, которое каждый из них втайне ненавидел, дружно орали, навалясь на фортепиано, дико похабные и глупые куплеты, дружно проматывали сотни рупий на страшенных, вышедших в тираж блудниц вавилонских. Этот этап тоже определил многое.

Из Рангуна его направили в джунгли севернее Мандалая, где добывалось тиковое дерево. Несмотря на одиночество, отсутствие комфорта и такой, едва ли не худший, порок Бирмы, как дрянная однообразная еда, жизнь в лагере оказалась неплохой. Еще бредивший образом героя, Флори завел приятелей среди коллег. И снова пошли развлечения: охота, рыбалка, возможность раз в год съездить в Рангун «к дантисту». О радости этих коротких рангунских дней! Набеги на лавки букинистов за новыми романами! Обеды в английских ресторанах с бифштексами, с настоящим, проехавшим восемь тысяч миль в морозильном ящике маслом! Великолепие грандиозных попоек! Юное непонимание уже сложившейся судьбы, приготовившей впереди долгие годы кромешно скучного и одинокого гниения.

Он акклиматизировался. Организм привык к странному ритму тропических сезонов. С февраля по май солнце пылает гневным божеством, затем внезапный западный муссон обрушивает шквалы, а затем бесконечный ливень, когда сырость пропитывает и вещи, и постель, и даже пища кажется насквозь промокшей. Причем зной не уходит, превращаясь в жаркую парилку. Низины джунглей раскисают сплошным болотом, поля становятся гигантской лужей, отдающей затхлой мышиной вонью. На книгах и башмаках расползаются пятна плесени. Обнаженные бирманцы в широких шляпах из пальмовых листьев вспахивают топкую грязь, погоняя ступающих по колено в воде буйволов. Следом женщины с детьми, аккуратно орудуя миниатюрными трезубцами, высаживают рассаду: отдельно каждый зеленый рисовый росток. Июль и август дожди льют практически непрерывно.

Но вот однажды ночью с высоты несется пронзительный птичий клич – бекасы летят из Центральной Азии на юг. Дожди стихают, заканчиваясь к октябрю. Поля высыхают, рис созревает, бирманские детишки затевают игру вроде «классиков», прыгая на одной ноге и гоняя зернышки по расчерченной земле, или запускают уносимых прохладным ветром воздушных змеев. Приходит

короткая зима, когда кажется, что Верхнюю Бирму навещает призрак Англии. Всюду расцветают цветы, не совсем те, но очень похожие на английские, – пышная жимолость, дикая роза с ароматом подгнивших груш, даже фиалки в тенистых лесных ложбинках. Солнце ходит по небу низко, ночами резко холодает и рассветный белый туман наполняет долины, словно густой пар великанских чайников. Пора стрелять уток и бекасов. Бекасам несть числа, а стаи диких гусей, отдыхавших на болотных травяных островах, поднимаются в небо с шумом грохочущего по железному мосту грузового состава. Волны спелых, высотой по грудь рисовых колосьев золотятся, точно пшеничные. Крестьяне спешат в поля, закутав голову, зябко поджав руки и пряча стынущие лица. Из лагеря идешь на делянку сквозь утреннюю мглу по странной для дикой чащобы, промытой росой почти английской траве меж голых деревьев, на верхушках которых, съежившись, дожидаются солнца обезьяны. Вечером возвращаешься лесной тропой, холодно, рядом мальчишки гонят домой стада буйволов, чьи рога в сумерках маячат светлыми полумесяцами. Три одеяла на кровати и пирог с дичью вместо вечного цыпленка. После ужина посиживаешь на бревне у большого походного костра, попиваешь пиво, болтаешь об охоте. Отблески пляшущего алым цветком пламени освещают дальний круг сидящих на корточках слуг и носильщиков, робеющих вторгаться в компанию белых и все же, как собаки, притянутых огнем. Лежа в постели, слышишь каплющую с ветвей, шумящую тихим дождем росу. Хорошо, когда молод и не тревожат думы ни о прошлом, ни о будущем.

Флори исполнилось двадцать четыре, он как раз собирался в отпуск на родину, когда вспыхнула Первая мировая. От армии он увернулся, что было легко и ничуть не осуждалось. У штатского населения Бирмы сделались чрезвычайно популярными рассуждения насчет истинно патриотичной «верности делу» (сколь удобен язык, изящно подменяющий «долг» почти неотличимо звучащим «делом»!), наблюдалась даже подспудная враждебность к тем, кто, оставив офисы, ушел на фронт. Что касается Флори, он уже развратился Востоком и не имел желания сменить виски, слуг и бирманских красоток на скуку строевых учений и тяготы солдатских маршей. Война глухо рокотала где-то за горизонтом. В безопасном краю, опухшем от жары и лени, повеяло тоской. Флори жадно погрузился в чтение, привыкая жить книжными судьбами, когда реальность становилась невмоготу. Утомившись ребяческими радостями и волей-неволей учась думать самостоятельно, он взрослел.

Свой двадцать седьмой день рождения он праздновал в больнице, с ног до головы покрытый мелкими язвами, которые считались инфекцией, но появились скорее от пьянства и скверного питания. Щербинки кое-где на коже держались

еще года два. Внезапно он стал иначе видеть, иначе чувствовать. Молодость кончилась. Накаты малярии, заброшенность и регулярные попойки поставили на нем свое клеймо.

И каждый год теперь прибавлял горечи. А в центре всех размышлений, всех досадных впечатлений заполыхала ненависть к отравившему, кажется, сам здешний воздух империализму. Мозг работал и работал (мозгам ведь не прикажешь «стоп» – известная драма недоучек, созревающих поздно, когда обидную судьбу не переделать), и Флори постигал правду насчет родимой матушки Империи. Британская Индия являлась тиранией несомненно благожелательной, однако все же тиранией, созданной ради грабежа. И ко всем белым на Востоке, всем этим сахибам, среди которых ему выпало существовать, Флори начал испытывать злобное отвращение. Отношение, надо сказать, вряд ли справедливое. В конце концов, публика не хуже прочей. Да и судьба их незавидна: отдать тридцать лет жизни службе на чужбине, чтобы, приобретя скромный доход, больную печень и шишковатую от тростниковых стульев задницу, вернуться в Англию и прилепиться к какому-нибудь захудалому клубу, – явно убыточная сделка. Впрочем, воспевать сахибов тоже нет повода. Бытует мнение, что англичан «на передовых постах» Империи отличают активность и деловитость. Заблуждение. Помимо специалистов Лесного департамента, Департамента социальных служб и нескольких других специальных ведомств, для грамотного управления делами британские служащие, в общем-то, не нужны. Мало кто из них по энергичности и знанию предмета сравним даже с уровнем провинциальных английских почтмейстеров. Почти всю административную работу исполняет младший туземный персонал, а подлинной основой режима является отнюдь не чиновный аппарат – держится все на армии. Подле мощной армии чиновник или бизнесмен может копошиться вполне благополучно, даже будучи полным болваном. И большинство действительно болваны. Скопище чванных тупиц, холящих свою тупость за оградой из четверти миллиона штыков.

Комически бездарный, бесплодный мир. Мир, где сама мысль под цензурой. В Англии трудно даже представить эту атмосферу, в Англии мы вольны: открыто продаем свои души и вновь их тайно обретаем в кругу друзей. Но о каких друзьях или хотя бы приятелях можно мечтать, если каждый твой соплеменник – лишь зубец шестеренки в деспотическом механизме? Свобода слова немыслима. Все прочие – ради бога: свобода пить беспробудно, трусить, сплетничать, бездельничать, развратничать – запрещено лишь думать самостоятельно. Любое мнение о любом, самом незначительном предмете диктуется уставом пакка-сахиба.

В итоге таишься и потайной бунт тебя разъедает, как скрытая болезнь. Живешь сплошной ложью. Год за годом сидишь в убогих, осененных скрижалями Киплинга местных клубах, слева стакан виски, справа многостраничный «Щеголь», и поддакиваешь майору Боджеру, призывающему сварить чертовых туземцев-националистов в кипящем масле; слушаешь, как твоих друзей называют «сальными индяшками», и покорно киваешь: «Да-да, индяшки»; видишь, как неотесанные юнцы лупят седовласых слуг. И постепенно начинаешь горячо ненавидеть соотечественников, страстно желать, чтобы аборигены взбунтовались и потопили Империю в крови. И во всем этом никакого благородства и даже искренности маловато. Ибо, в сущности, разве тебя горячо волнует деспотичное угнетение туземцев? Бесишься лишь оттого, что тебе лично не дают высказаться от души. Сам ты родное чадо тирании, сам ты пакка-сахиб, скованный прочнее дикаря или монаха системой жесточайших табу.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Территория в бассейне верхнего течения главной бирманской реки Иравади; наименее заселенный район лесных джунглей. Действие романа происходит в 1920-е годы, когда Бирма была окраинной провинцией Британской Индии. Таким образом, «Верхняя Бирма» означает «самая глушь индийской колониальной глухомани». – Здесь и далее примеч. пер.

2

Популярный в странах Юго-Восточной Азии вид как мужской, так и женской одежды, представляющий собой сшитое цилиндром и надетое на голое тело тканое полотнище, верхний край которого завязывают особым узлом у подмышек или на талии. Родиной считается Аракан, некогда самостоятельное государство, а ныне область на юго-западе Бирмы (Мьянмы).

3

Город в Центральной Бирме, порт на реке Иравади.

4

Предшествующая бирманскому имени добавка «Ко» указывает некое старшинство или выражает достаточную степень уважения; употребляется в обращении к офицерам, чиновникам, старшим родственникам и т. п.

5

Более парадный, чем обычный плотно повязанный платок, мужской головной убор, состоящий из косынки, накрученной на плотную шлемовидную шапочку-основу.

6

Верхняя одежда типа распашной рубашки или легкой куртки на кнопках.

7

Парадная мужская юбка бирманцев.

8

В именах крещеных полукровок намек на идейное соперничество религиозных миссий: ветхозаветное «Самуил» как знак протестантизма, признающего священной основой только Библию, и «Франциск» – имя, отражающее католический культ святых (в частности, основателя ордена францисканцев).

9

Реплика из трагедии Шекспира «Макбет».

10

Представитель древнейшей индийской (видимо, доарийской) этнической группы народов, населяющих главным образом Южную Индию.

11

Город, административный центр в Нижней Бирме.

12

Несмотря на то что «падре» обычно подразумевает католического священника, речь тут, у англичан Британской Индии, идет о представителе официальной англиканской церкви.

13

Имеются в виду живущие в индийском штате Мадрас, ныне Тамилнад, тамилы – этнос дравидийской группы.

14

Карены – второй по численности (после основной бирманской народности мьянма) коренной народ Бирмы.

15

Издававшийся в Эдинбурге литературно-публицистический журнал крайне консервативного направления.

16

Имеется в виду Мария I Тюдор – английская королева, на время своего правления (1553–1558) восстановившая католицизм и получившая прозвище Марии Кровавой за жестокие преследования сторонников Реформации.

17

Основной непальский этнос. Англичане так называли всех вербовавшихся в Непале наемников; специальные отряды гуркхов представляли собой некий аналог российской «Дикой дивизии».

18

Пакка – буквально «созревший», «сваренный», в переносном смысле – «правильный», «настоящий»; пакка-сахиб – благородный господин (англо-инд.).

19

Имеется в виду отмечавшийся в 1887 г. первый (50-летний, в отличие от второго, 75-летнего) юбилей правления королевы Виктории.

20

Слегка искаженная (в пьесе речь идет об одном человеке) цитата из трагедии Шекспира «Гамлет».

21

Король завоеванного англичанами в результате Третьей англо-бирманской войны государства Ава (Верхняя Бирма). В 1885 г. взятый в плен Тхибав был сослан в Индию.

22

Упоминается поэма «Потерянный рай» Джона Мильтона (1608–1674).

23

Мелкая монета,

/

рупии.

24

В бирманском обиходе не существует ни слова, ни понятия «поцелуй».

25

Местное название широко распространенного в Бирме крупного (высотой до 35 м и более метра в диаметре) дерева, которое в Европе чаще именуют «железным деревом».

---

Купить: https://tellnovel.com/dzhordzh-oruell/dni-v-birme-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити